

ГЕРЦЕН И ФРАНЦИЯ

Статья Л. Р. Ланского

Жизнь Герцена и его деятельность теснейшим образом связаны были с Францией и с французской культурой.

Вокруг него, еще в детские годы, часто звучала французская речь. Его учили французы по французским учебникам и произведениям французских классиков. Он был воспитан на литературе Франции, на ее понятиях, знал французскую историю, изучал и пропагандировал идеи Великой французской революции и французских социалистов-утопистов. В печати он дебютировал переводами французских естествоведческих трудов.

Герцен долго жил в Париже, посещал парламентские и судебные заседания, клубы, политические банкеты, лекции, театры, музеи; писал по-французски статьи и брошюры, знакомя Францию с духовной жизнью русского народа, обличая русское самодержавие и французскую реакцию. Он был очевидцем многих важнейших событий революции 1848—1849 гг., участвовал в демонстрациях на улицах Парижа и подвергался там полицейским преследованиям. Его книги того времени — «Письма из Франции и Италии» и «С того берега» — не только вершины художественной публицистики, но и бесценные памятники истории Франции.

В «Былом и думах», главном труде своей жизни, Герцен много писал о Франции и французах. Он высоко ценил «галло-франкский» гений Рабле, Паскаля, Монтеня, Вольтера, Дидро, Бомарше и «легкую, сверкающую игру» французского остроумия.

Герцен поддерживал дружеские и деловые отношения с виднейшими представителями французского революционного и демократического движения, литературы, науки и журналистики, сотрудничал во французских периодических изданиях, издавал на французском языке книги и газеты. Его личностью, литературным талантом и общественной деятельностью восхищались такие современники, как Гюго, Мишле, Кине, Леру... Сочинения Герцена, написанные по-французски, а также переведенные им самим или под его редакцией на французский язык, поражали французских читателей глубиной мысли, остроумием, блеском изложения, оригинальностью стиля, выразительностью и меткостью языка. В его русских произведениях нередко французские идиомы и галлицизмы, свидетельствующие о том, что ему близок был живой мир французской речи. Многие французы признавали Герцена не только русским, но и выдающимся французским писателем, сравнивали его с Вольтером и Дидро. Критические статьи о Герцене часто появлялись во французских газетах и журналах, и имя его еще при жизни пользовалось во Франции почетной известностью.

Герцен умер в Париже незадолго до Франко-прусской войны и Парижской коммуны и вначале был похоронен на кладбище Père-Lachaise. В последний путь его провожали французские демократы, участники революционного движения, деятели культуры и рабочие-«блужники». Французская пресса в многочисленных некрологах отмечала исключительный талант и интеллект Герцена, выдающееся значение его как публициста, издателя «Колокола», художника. Останки Герцена в том же 1870 г. перенесены были из Парижа на кладбище Ниццы; могила с его бронзовым изваянием — одна из исторических достопримечательностей французского Средиземноморья...

Через полтора года после смерти Герцена, когда «осерчалые лавочники» (так называл Герцен французскую буржуазию), подавив Парижскую коммуну, безжалостно уничтожали ее героических участников, вторая жена Герцена, Н. А. Тучкова-Огарева, писала Виктору Гюго: «Какие горькие времена! <...> Франция пожирает своих детей, никто не может удержать ее руку <...> Сколько страдал бы Герцен, он так любил Францию!»¹

Да, Герцен любил Францию, страну «вулканических взрывов», несравненной культуры и деятельной пропаганды, родину Великой революции и ее бессмертных традиций. Он восхищался лучшими чертами французского национального характера — свободолубием и трудолюбием,

энергией, трезвостью мысли, веселостью, готовностью к самопожертвованию; любил французский язык, точный, логичный, выразительный, благозвучный; любил французскую науку и художественную культуру. С детских лет Франция и Париж обладали для него, как он сам говорил, огромной чарующей силой. Его любовь к Франции еще усиливалась от ненависти к царскому самодержавию и петербургским порядкам, навсегда разлучившим его с родиной.

Любовь Герцена к Франции лишена была, однако, идиллической окраски — к ней нередко примешивались недовольство, горечь разочарований, досада неоправдавшихся надежд. «Почему я не содрогаюсь от ярости, читая берлинскую или лондонскую газету, а каждая гнусность, имевшая место в Париже, оскорбляет меня, заставляет терять веру в род человеческий и ожесточает против всей нации?» — с горечью восклицал он (XXIII, 260). Эти строки — свидетельство страстной и требовательной любви; и если Герцен порою ненавидел Францию, то именно так, как, по его собственным словам, ненавидят ревнивцы — от избытка любви и доверия (V, 320).

Один из французских друзей Герцена писал в посвященном ему некрологе: «Конечно, он не раз говорил о нас с суровостью, более чем оправдываемою в наших собственных глазах той низостью, до которой наша страна опустилась на слишком долгое время, — но в горечи его слов легко было распознать нежность друга, надежды которого были позорно преданы!»²

* * *

На формирование Герцена как человека, философа, художника, революционера и гуманиста немалое влияние оказали социально-политические произведения великих французских просветителей XVIII в.

Еще в ранней юности Герцен увлекался едким, ироничным, «все низвергающим» Вольтером, восхищался его свободомыслием, его разящим словом и считал себя настоящим вольтерьянцем. Затем наступило продолжительное охлаждение: прекраснодушный Шиллер во второй половине 1820-х годов, религиозные настроения середины 1830-х и увлечение немецкой философией в начале 1840-х не только оттеснили Герцена от его прежнего кумира, но и поставили по отношению к нему в воинственно-враждебную позицию. Он стал подвергать осуждению всепроникающую иронию Вольтера, его «ядовитую, адскую, змеиную насмешку», «улыбку самодовольствия с сжатыми губами»³, «поверхностность мысли», «холод души», «сухую безнравственность» и «односторонность» (I, 21, 72, 330; XX, 258; XXI, 274). Однако под влиянием отрезвляющих событий конца 1840-х годов Герцен снова пересмотрел свой взгляд на великого просветителя, осознал неизмеримость влияния «приготовителя революции» на современников и последующие поколения и проникся уважением к его деятельному гуманизму. В полной мере оценил он и острейшее оружие политической сатиры, которым так бесподобно владел Вольтер.

«Смех Вольтера разрушил больше плача Руссо», «писания эгоиста Вольтера больше сделали для освобождения, нежели писания любящего Руссо — для братства», — к такому выводу пришел в конце концов Герцен, сам принадлежавший к «фаланге великих насмешников» (VI, 129; ср. XII, 234; XVIII, 178; XXII, 368).

Вольтеровская жилка не переставала биться в Герцене и в те годы, когда с «фернейским старцем» он был не в ладах. Вольтер-историк; Вольтер-обличитель, проникнутый нетерпимым отношением к царящему злу и активный борец с этим злом; автор язвительных повестей, «Философских писем» и «Философского словаря», вольнолюбивых трагедий и всепокрушающего антиклерикального призыва «Раздавите гадину!» являлся прямым предтечей Герцена — художника, философа, публициста. Недаром французские и русские почитатели Герцена сравнивали его с этим исполином эпохи Просвещения, занимавшим во Франции середины XVIII в. примерно такое же место, какое Герцен займет в России середины девятнадцатого. И когда в расцвете своей отличительной деятельности издатель «Колокола» вспоминал о «потрясавшем и двигающем массы» Вольтере, который «хохотал, печатая вне Франции свой смех», о Вольтере, чей смех «бил и жег, как молния» (XIII, 25; XIV, 117), он не мог миновать неизбежной исторической параллели между собой и великим французом*.

* «Мне в твоих статьях нравится то, что мне нравится в Вольтере или Дидро, — говорил Герцену его друг, историк западноевропейского мира Т. Н. Грановский. — Они живо, резко затрогивают такие вопросы, которые будят человека и толкают вперед...» (IX, 209). И о «Докторе Крупове»: «Это просто гениальная вещь <...> Так шутил Вольтер во время оно» (XI, 527). — «Оставайся нашим могучим Вольтером, в этом твоя истина и потому и сила твоя» (из письма М. А. Бакунина к Герцену 1867 г.)⁴. — «Ты не поэт <...>, но ведь и Вольтер не был поэт <...> —

Другого исполина французского Просвещения, Жан-Жака Руссо, Герцен в юности буквально боготворил. Особенно восхищали его социально-политические трактаты Руссо, в которых французский мыслитель безоговорочно осуждал социальные несправедливости и обосновывал необходимость политической борьбы, подчеркивая преимущества республиканского правления. Жгучие сентенции Руссо восхищали юного Герцена; они подкрепляли своим огромным авторитетом его рано принятое решение посвятить жизнь борьбе с самодержавием и социальным гнетом. В трактате «Об общественном договоре» — «символической», по выражению Герцена, книге — он видел «великий факт освобождения мысли, совести в сознании человека», «утреннюю зарю, осветившую вершины». «Руссо <...> подкапывал не одни учреждения, а все здание общественное старого мира», — утверждал он в начале 1840-х годов (I, 329; II, 302; V, 306; X, 189; XVI, 27—28).

Позднее Герцен обнаружит зияющий разрыв между мировоззрением Руссо и идейными требованиями новой эпохи. «После Руссо прошли столетия» — так резюмирует он в 1848 г. свой взгляд на духовное наследие великого женева. И хотя имя Руссо, как считал Герцен, оставалось свято и дорого всякому образованному человеку, его «понятия» стали «тесны для современного мира».

Попытку осмыслить историческое значение Руссо, его роль в Великой французской революции и в истории последующих десятилетий, вплоть до 1848—1849 гг., мы находим в книге «С того берега», особенно в главе «Consolatio» (VI, 28—29, 86—96; ср. III, 294; V, 318; XXIII, 57).

«Исповедь» Руссо и «Былое и думы» Герцена — две высочайшие вершины автобиографического жанра. Произведения эти во многом несхожи, даже антагонистичны, но имеют в себе немало общего. «Это не столько *записки*, сколько *исповедь*...» — так характеризовал «Былое и думы» сам Герцен (VIII, 9). «Тут попадаются и рассказы о самом себе, взволнованные и волнующие, как самые страстные излияния Жан-Жака Руссо», — подметил еще при жизни Герцена в одной из своих французских статей его друг молодости Н. И. Сазонов⁷. Настоящий интерес Герцена к автобиографическому жанру, жанру полнейшего самовыражения, в какой-то мере был пробужден, вероятно, прославленной книгой Руссо.

Во многом был близок Герцену и Дидро. В «Письмах об изучении природы» переключаясь с этим «глубокомысленнейшим из всех энциклопедистов» (III, 312) особенно ощутима. Живость и увлекательность его изложения, смелость выводов, стилистический блеск и остроумие импонировали Герцену. Диалогическая форма отдельных глав «С того берега», возможно, была навеяна произведениями Дидро, в частности его «Племянником Рамо»⁸.

Других выдающихся энциклопедистов — Д'Аламбера, Гольбаха, Гельвеция, Кондильяка, Монтескье, Бюффона — Герцен в юности, по-видимому, знал более поверхностно. Восхищенно отзываясь об «огромном здании», воздвигнутом философами XVIII в., он их апологетом, впрочем, не являлся и сильное пристрастие испытывал преимущественно к политической стороне их доктрины.

Серьезным изучением литературно-политического и философского наследия энциклопедистов Герцен занялся только в начале 1840-х годов, готовясь к работе над «Письмами об изучении природы» (последнее из этих писем, озаглавленное «Реализм», целиком посвящено эпохе французского Просвещения и философии XVIII в.). Век «анализа и разрушения» имел, по мнению Герцена, «что-то революционное в костях и мясе» (I, 25; II, 308; 298—302; IX, 45). Это, конечно,

однако его «Кандид» потягается в долговечности со многими великими художественными произведениями...» (В. Г. Белинский — Герцену по поводу «Кто виноват?» — XI, 523). — «Об остроумии Герцена впоследствии будут говорить так, как говорят об остроумии Вольтера: веселость, насмешка, лукавство, проникновенность, острая наблюдательность — в нем всё, всё» (из дневника французской писательницы Эрминии Кине — см. ниже). Бросая на гроб Герцена букет иммортелей, французский социалист-республиканец, член Учредительного собрания 1848 г. П. Малярдьё провозгласил: «Вольтеру XIX столетия!»⁹. По мнению Г. Н. Вырубова, редактора первого, женева, собрания сочинений Герцена, «нигде, ни в какой стране после Вольтера не было человека, который <...> одним своим пером имел бы такое необычайное влияние, каким было влияние Герцена на русскую публику...» Вырубов называл Герцена «русским Вольтером»⁶.

* «Это превосходно! Под этим бы Дидро подписал свое имя <...> — с восхищением замечал о статье «Перед грозой» чуткий критик и эрудит В. П. Боткин. — Никогда еще глубочайшие проблемы жизни и истории не были поставлены с такою неумолимою яркостью и упорством, и никогда еще содержание, доступное только самой отвлеченной диалектике, не принимало таких простых, общепонятных форм...»⁸.

усиливало его интерес к наиболее значительным явлениям умственной и социально-политической жизни эпохи *.

Свою юность Герцен называл временем революционного идолопоклонства. Его французский учитель, эмигрант Бушо, являлся, вероятно, небездеятельным участником взятия Бастилии и революционного террора. Именно ему обязан был Герцен первыми достоверными сведениями о Великой революции. От «террориста» Бушо он узнал, что Людовик XVI, окончивший жизнь на гильотине, — вовсе не «святой мученик» и что казнь его — акт народного возмездия. Это открытие поразило мальчика: ведь Французская революция со всеми своими грандиозными свершениями — не только в дворянском «фольклоре», но и в историографии — сводилась к одному гипертрофированному факту: «святотатственному убийству» помазанника божьего «кроважными якобинцами».

Великую французскую революцию Герцен сравнивал с колоссальным огненным извержением, изменившим «все лицо планеты», — извержением, горящие камни которого «разлетелись по всему свету» (I, 25).

«О, как мы любили вас, изо всех сил вбирая в свои легкие свежий воздух, впервые повеявший на мир через огромную пробину 1789 года», — восклицал он в конце жизни, обращаясь к французским демократам (XX, 73).

Куль Великой французской революции был «первой религией» Герцена. Значительные события и яркие фигуры этой величественной эпохи навеки врезались в его память. «Летописи» тех времен — речи Мирабо и «суровых личностей» Конвента, письма и мемуары современников читались и перечитывались, и интерес к ним возрастал при каждом чтении. Портреты вождей революции бережно хранились в заветных тайниках молодого Герцена и его друзей, подобно изображениям святых запрещенной церкви (XXX, 650) **.

Герцен и в зрелом возрасте не переставал изучать труды, посвященные Французской революции. О чтении сочинений А. Тьера, Ж. Мишле, А. Ламартина, Л. Блана, Ф. О. Минье, Т. Карлейля, Ж. Кларти, Эркмана-Шатриана и др. встречается немало упоминаний в его переписке.

В 1868 г. 56-летний Герцен сообщает автору «Истории Французской революции» Ж. Мишле: «Я плакал, читая последние страницы <вашей книги> о смерти Дантона и его друзей <...> Я только что закончил том... о последних монтаньярах, — как величественно ваше прошлое!» (XXIX, 271).

Интерес к исторической эпохе XVIII в. у Герцена никогда не иссякал. Менялась оценка событий и отдельных деятелей, подвергались переосмыслению движущие силы революции и ее конечные результаты, но к этой грандиозной лаборатории исторического опыта он постоянно возвращался, ища и находя там всё новые данные для постижения хода общественного движения и предвидения грядущих судеб человечества.

«Дела и люди этих торжественных дней истории остаются, подобно маякам, предназначенным освещать дорогу человечеству; они сопровождают человека из поколения в поколение, служа ему наставлением, примером, советом, утешением, поддерживая его в бедствиях и еще более в счастье...», — писал Герцен в одной из своих французских статей 1850-х годов. В Великой революции находил он «могучую, титаническую поэзию» (VI, 243—244; XI, 33).

Чаще всего внимание Герцена приковывала к себе личность «неумолимого логика революции» Робеспьера. Герцен с двойственным чувством относил его, как и Сен-Жюста, к «святым палачам идеи». Понимая благородство помыслов «Неподкупного», его неоспоримую преданность народу и революционной идее, Герцен в то же время осуждал его за сухость, неуважение к истине, презрение к людям и даже упрекал в безнравственности — главным образом из-за того, что сам Робеспьер испугался результатов своих «далеко идущих проповедей». Красноречие Робеспьера, которым Герцен прежде безмерно восхищался, он в зрелом возрасте находил холодным и риторичным, с одной стороны, грозным и сентиментальным — с другой.

* Из предшественников энциклопедистов Герцен выделял «эксцентрического гения» М. Монтеня, П. Гассенди и П. Бейля — одного из «неутомимейших деятелей XVII века», причастного ко всем горячим вопросам, гуманного и едкого, уклончивого и дерзкого, живо выражавшего «деятельный, кипящий и неустроенный XVII век» (III, 251, 273; X, 190). Ценил он и цитировал также и Б. Паскаля.

** «Кто из нас не слышал громовых речей Мирабо и Дантона, — писал в 1860-х годах Герцен, — кто не был якобинцем, террористом, другом и врагом Робеспьера, даже солдатом республики у Гоша, у Марсо?..» (XVIII, 322).

Несмотря на свою ненависть ко всевозможным «свирепым мерам», в том числе и к террору якобинцев, Герцен считал, что исключительные обстоятельства порой оправдывали грозные репрессии Конвента, и даже готов был видеть в них бесспорный признак величия. В то же время он отмечал, что не всех «актеров» 1793 г. можно любить (II, 348).

Этот намек относился в первую очередь к Марату. Великий якобинец особых симпатий у молодого Герцена не вызывал. На герценовском «революционном иконостасе» его портрет, по-видимому, отсутствовал, и позицию Марата по отношению к тайным и явным врагам революции он долго считал необоснованно жестокой. Однако трагический финал событий 1848—1849 гг. наглядно доказал Герцену, что доверчивость и беспечность, проявляемые народами, отнюдь не содействуют закреплению победы. И он приходит к выводу, что Марат свое дело знал; что без него плохо; что народу нужен такой нестун, «который был бы весь его, за него подозрителен, за него неутомим» (XXIII, 83).

Резка, но справедлива и принципиальна характеристика Марата — «раздражительного, болезненного, желчного, фанатичного, подозрительного, великого инквизитора революции (<...>, страдавшего с народом и проникшегося его ненавистью, его мстостью», — во французской статье Герцена «Шарлотта Корде» (1850). Герцен убежденно защищает великого революционера, истинного друга демократической Франции, мстительно оклеветанного буржуазными историками. Тем не менее до конца жизни он все же продолжал считать, что карательная политика якобинцев и Марата имела чрезмерно жестокий характер и что Франция «не может обсохнуть от крови, пролитой во время террора» (VI, 245; XIX, 236).

Организатор «Заговора равных», «первый» француз-социалист Г. Бабёф заинтересовал Герцена еще в начале 1830-х годов. Насколько можно судить по черновому варианту статьи «Двадцать осмое января» (1833), серьезного значения утопической доктрине Бабёфа он тогда не придавал. Позднее, однако, бабунизм стал рассматриваться Герценом как красноречивое пророчество будущего, а сам Бабёф — как прямой предшественник Сен-Симона и одна из тех «великих личностей, мучеников и побитых пророков, перед которыми невольно склоняется человек» (XI, 242). «Из пепла, брошенного умирающим Бабёфом, родился французский работник» (V, 314) — этим афоризмом Герцен рельефно выразил свое понимание бабуизма как предвестника социальной революции. Однако эгалитаристские крайности Бабёфа, проповедовавшего не только отмену частной собственности, но и строжайшую правительственную регламентацию всей общественной и личной жизни, «каторжное равенство», Герцен воспринимал как «безумие» и решительно отвергал. «Хирургические» методы Бабёфа, готового (как позднее М. А. Бакунин, а значительно ранее — Конвент) декретировать скачок из первого месяца беременности прямо в девятый, Герцену претили *. Учение Бабёфа он называл *великой мыслью*, хотя и нелепо выраженной.

Империя Наполеона I рассматривалась историографией того времени как заключительный этап Великой революции. Романтическому культу Наполеона, столь характерному для западноевропейской молодежи 1820—1830-х годов, ненадолго поддался и Герцен. Позднее он увидит в Наполеоне великого кондотьера, водворителя рабства, укрепившего позорнейшее социальное положение, какое когда-либо существовало, и пролившего больше крови, чем все революции, вместе взятые (V, 242, 427; VI, 450). Годы правления Наполеона он стал рассматривать не как героическую эпопею революции, а как героическую эпоху восходящей буржуазии. Для зрелого Герцена Наполеон — человек прошлого, сбивший с пути целое поколение, ослепленное им, сведенное с ума, направленное к ложной цели. Герцен пересматривает свой взгляд и на так называемую «эпоху славы» императора — серию войн, усеявших трупами поля Европы; для него это уже не победы, а злодейства, всеобщая бойня, оргии убийства, апофеоз резни. Он осуждает дикий деспотизм Наполеона, а «глубокомыслие» императора, подчеркиваемое его биографами, вызывает у Герцена резкие иронические реплики; план войны с Россией он расценивает как явную нелепость ** (V, 194, 214, 426; VI, 137; VIII, 19; XIII, 242 и др.).

Памфлет Герцена «La France ou l'Angleterre?» (1858), направленный главным образом

* См. письма «К старому товарищу» (XX, 576; ср. XI, 241).

** Отец Герцена, И. А. Яковлев, часто рассказывал о своей встрече с Наполеоном в пылающей Москве, и, надо думать, в непочтительном и ироническом тоне. Это могло в какой-то мере повлиять на восприятие Герценом Наполеона как личности. Надо отметить, что Яковлев, «причастный» к истории Наполеона и упоминаемый во многих сочинениях о нем, постоянно читал научные труды и мемуары о французском императоре. Со многими из них, еще в юности, разумеется, ознакомился и Герцен.



*A nos chers amis Skrébitskile
le 6 août 1888.*

ГЕРЦЕН

Фотография с дагерротипа. Париж, 1847

С дарственной надписью А. А. Герцена (сына): «A nos chers amis Skrébitskile 6 août 1888» («Нашим дорогим друзьям Скребитским 6 августа 1888»)

Музей Герцена, Москва

против Наполеона III, ретроспективно метит и в основателя наполеоновской династии; в ней Герцен видит болезнь дряхлости, малярию, «деспотизм конца», «метастаз» революции*. Характеризуя «гуверnementализм, регламентацию, насильственное навязывание власти», приписывая всем французским политическим системам, Герцен остроумно заключает: «Можно ли удивляться тому, что Людовик XVI, пройдя через фригийский колпак, сделался Наполеоном?» (XIII, 240—253). Дегероизация Наполеона — его личности и роли в истории — один из многозначительных мотивов «Былого и дум». Хотя аналогичная тенденция проявлялась в памфлетах П. Л. Курье, в «Ямбах» О. Барбье и в других прославленных произведениях французских авторов, под пером Герцена она приобрела исключительную убедительность. Впрочем, он иногда

* «Бонапартизм, — пишет здесь Герцен, — действует лишь при помощи смерти. Его слава — вся из крови, вся из трупов. В нем нет силы жизнедеятельной, нет производительной деятельности; он совершенно бесплоден; все созданное им — только иллюзия, сон: кажется, будто что-то есть, а в сущности нет ничего; это призраки, привидения: империи, королевства, династии, герцоги, принцы, маршалы, границы, союзы... Подождите четверть часа: всего этого не существует; это очертания облаков. Действительность — это земля Испании, утучненная трупами французскими; это пески Египта, усыпанные французскими костями; это снега России, обгабренные французской кровью» (XIII, 240—241. Перевод уточнен).

ослаблял категоричность своих критических оценок и видел в Наполеоне не только прозаического мещанина на троне, но и «последнего политического гения Запада, которого сумрачная фигура замыкает собой революцию» (XVIII, 307). Герцену ясен был и безотрадный трагизм положения «отяжелевшего Наполеона», заменявшего в последние годы жизни свой «тухнущий гений» упорными капризами и окруженного «своими козодотерьами в герцогских мантиях, готовыми предать его, как предали ему республику» (XIII, 100).

В художественных произведениях Герцена разных лет («Первая встреча», «Долг прежде всего», «Доктор, умирающий и мертвые») встречаются эпизоды, тесно связанные с Великой французской революцией. Воссоздавая в них быт, нравы и общественные настроения того времени, он проявил поразительное знание фактической стороны эпохи и ее атмосферы, так же как психологии действующих лиц — исторических и вымышленных.

* * *

Из «Былого и дум» и «Записок одного молодого человека» мы узнаём, как вошла в жизнь Герцена книга⁹; узнаём, что первое печатное произведение, прочитанное им с любовью, принадлежало перу французского писателя Ф. Г. Дюкре-Дюмениля. Это был роман «Лолота и Фанфан, или Приключения двух младенцев, оставленных на необитаемом острове». В нем сочетались «робинзоновские» мотивы с элементами романа нравов. Другое сочинение того же автора — «Алексис, или Домик в лесу»¹⁰ — особенно заинтересовало юного читателя. Эта книга об отважном и несчастном Алексисе, страдающем от двусмысленного положения в семье, вероятно, вызывала у Герцена аналогии со своей собственной судьбой, а характер сурового и подозрительного отца Алексиса так и напрашивался на сопоставление с характером И. А. Яковлева.

В отроческие годы Герцен проглотил сотни французских пьес, напечатанных в многотомном сборнике «Répertoire du théâtre français»¹¹, находившемся в «довольно большой» библиотеке отца и дяди Герцена, которая состояла преимущественно из французских книг XVIII в. Но самое неизгладимое впечатление произвела на него «Женитьба Фигаро» Бомарше, от которой юный Герцен был «без ума» и которую много раз перечитывал, причем не по-французски, а в неуклюжем русском переводе 1780-х годов (VIII, 47)¹². Вначале его восхищали только лирические эпизоды пьесы; он мысленно перевоплощался в Керубино и жил его первыми отроческими страстями. Затем его увлекла сатирическая стихия этой лучшей французской комедии, в которой «все живо, трепещет, пышет огнем, умом, критикой и, след., оппозицией» (II, 231). Образ энергичного, жизнерадостного представителя третьего сословия, «хитрого, увертливого, шипучего, как шампанское», Фигаро встает во весь рост на страницах произведений Герцена как символ живых сил предреволюционной эпохи (V, 33; XII, 338). В конце 1840-х годов он увидит этого «забавного, милого плута» Фигаро уже в новой трансформации: разбитной цирюльник в результате революции 1789 г. стал преуспевающим капиталистом-стяжателем, эксплуататором, типичным представителем правящей верхушки Июльской монархии; это Адольф Тьер в зените своей отталкивающей политической карьеры*.

С увлечением прочитал Герцен «Историю кавалера де Грие и Манон Леско» аббата Прево д'Экиля. Об этом чудесном произведении он и потом будет отзываться с большой теплотой и видеть в нем верную и великую коллизию, полную глубокого интереса и пафоса (II, 225).

Чтение Герцена в это время было лишено всякой системы. То ли из равнодушия, то ли из уважения к педагогическим идеям Руссо И. А. Яковлев предоставлял своему сыну гораздо больше возможностей для свободного развития, чем другие родители того же круга, настойчиво навязывавшие своим детям собственное мировоззрение, религиозные предрассудки и господствующие стандарты мышления. Конечно, бессистемное чтение классиков и даже забытых и полузабытых писателей прошлого было во всех отношениях лучше, чем школярская зубрежка прописей из казенных учебников.

* «...Тьер,— писал тогда Герцен,— полнейший представитель современного большинства, дерзкого на вид и смиренного на деле, которое, острая и помирая со смеху, ссылает на поселение, сажает на цепь, которое имеет одного бога — капитал и не имеет богов, разве его (...) Самая наружность Тьера, малорослого старичишки, с кругленьким брюшком, на тоненьких ножках, с видом плута-дворецкого, Фигаро, типически выражает буржуазную Францию.

Скорее отлейте его статую — статую в очках и в полуфраке — и поставьте ее на июльскую колонну, пусть она переглядывается с своим императором на Вандомской колонне. Наполеон и Тьер — героическая эпоха восходящего мещанства и эпоха ее тучного преуспеяния!» (V, 194).

Интерес юного читателя к Франции, ее литературе и культуре не мог, однако, удовлетвориться разрозненными сочинениями уже отдаленной эпохи *. Новых французских книг в доме родителей Герцена, вероятно, не было ¹⁴. Немалую информацию о современной Франции, правда, давала русская периодическая печать **, особенно «Московский телеграф» — «журнал литературы, критики, науки», начавший выходить в 1825 г. и откровенно ориентировавшийся на Францию и французскую культуру и литературу. В «Московском телеграфе» систематически печатались переводы новейших произведений Гюго, Виньи, Мериме, Сю, Бальзака и, в частности, писателей, философов и экономистов левого крыла французского либерализма. «Московский телеграф» усердно пропагандировал и историков так называемой «доктринерской школы» — Гизо, Тьерри, Тьера, Сисмонди и др.

Борьба нового литературного направления — романтизма — с одряхлевшим, но все еще воинствующим классицизмом достигла тогда сильнейшего накала. Этой борьбе «Московский телеграф» уделял много места. Классицизм отождествлялся в это время с реакционным консерватизмом, а романтизм — со свободолобием и свободомыслием. В прогрессивном романтизме молодежь видела открытый революционный протест против «старого мира»; все симпатии юного Герцена, разумеется, были на стороне этого «политического» течения, представлявшего собой как бы современное воплощение неумирающих принципов Руссо.

Что же касается «неистовых» проявлений французского романтизма (особенно свойственных его драматургии), то Герцен и им отдал некоторую дань, но делал это, можно сказать, умозрительно, скорее натягивая на себя преувеличенные страсти, чем всерьез проникаясь ими ¹⁵.

Во второй статье цикла «Дилетантизм в науке», озаглавленной «Дилетанты-романтики», Герцен много говорит о происхождении романтизма и о «тяжбе» его с классицизмом, приходя к выводу, что «человечество не хочет больше ни классиков, ни романтиков — хочет людей, и людей современных, а на других смотрит, как на гостей в маскараде...» (III, 24—40).

В середине 1820-х годов отец Герцена заменил возвратившегося во Францию Бушо новым учителем-французом — Ж. Маршалем, человеком, как писал Герцен, большой учености (но учености «в французском смысле»), знатоком античной литературы, старавшимся привить своему юному ученику любовь к французскому классицизму и его виднейшим представителям — Буало *** и Расину (I, 269; 274) ¹⁶.

В своих автобиографических сочинениях Герцен упоминает о чтении с Маршалем «Федры» Расина, но знакомство подростка с этим шедевром французского классицизма было тогда, надо думать, совсем поверхностным, вследствие особенности сюжета, основанного на кровосмешении, и, вероятно, ограничилось заучиванием хрестоматийного монолога Терамена из последнего акта трагедии — о гибели юного Ипполита. Этот длинный и несколько вялый монолог не мог произвести благоприятного впечатления на мальчика, уже подпавшего под неотразимое влияние «кипучего» Шиллера и французских романтиков; он лишь усиливал, должно быть, его антипатию к классицизму. И «Федру» и Расина Герцен открыл для себя только двадцать лет спустя, в Париже, на спектаклях Comédie Française благодаря гениальной игре Рашели.

Несмотря на приверженность литературе XVII в., Маршал, по-видимому, не сумел по-настоящему заинтересовать своего ученика даже такими светилами, как Мольер, Корнель, Лафонтен

* Увлечение Герцена Францией вольно или невольно поддерживалось его отцом, много лет прожившим в Париже и читавшим исключительно французские книги. О своем пребывании во Франции, которую он «безмерно любил», в самую блестящую эпоху наполеоновского могущества, о своих парижских знакомствах и театральных впечатлениях И. А. Яковлева много рассказывал, и Герцен не раз упоминает о том, что уже с детских лет мечтал о Париже.

Рассказывали о Франции и украшенные эполетами друзья и сослуживцы И. А. Яковлева, «покрытые славой едва кончившейся кровавой борьбы» (VIII, 22). Упомянув о русских офицерах, участниках Отечественной войны, Герцен как-то отметил одну любопытную черту: победы над французами были одержаны «людьми <...> любившими Париж и французов, любившими говорить по-французски» (II, 190). К этим людям принадлежали и многие декабристы. А. А. Бестужев-Марлинский вспоминал в «Полярной звезде на 1824 год»: «Войска возвратились с лаврами на челе, но с французскими фразами на устах, и затаившаяся страсть к галлицизмам захватила вдруг все состояния, сильнее чем когда-либо...» ¹³.

** Отец Герцена постоянно выписывал французские газеты «Journal de St.-Petersbourg» и «Journal de Francfort» (см. VIII, 93), в которых также много места занимала Франция.

*** Поэму «Искусство поэзии» Буало, которую Герцен разбирал с Маршалем и заучил наизусть, он считал «бездушной», но нередко цитировал впоследствии, и порой с явным одобрением (см. III, 62).

тен. К тому же немецкие романистики, в частности А. В. Шлегель, своими резко отрицательными высказываниями о французских классиках надолго отбили у Герцена охоту читать их, а тем более изучать*.

* * *

До нас не дошли — ни в полном виде, ни в отрывках — отроческие и юношеские, доуниверситетские произведения Герцена. Между тем его литературная деятельность во второй половине 1820-х годов, когда вырабатывались первоначальные основы мировоззрения и писательского мастерства будущего автора «Былого и дум», была значительна и разнообразна.

К этому времени относится, в частности, один из его «исторических разборов» — сравнение Бориса Годунова с О. Кромвелем.

Интерес к личности Кромвеля, несомненно, возник у Герцена под влиянием нашумевшей литературной новинки — исторической драмы Гюго «Кромвель» (вышла в 1827 г. со знаменитым предисловием автора, представлявшим собой боевой манифест романтической школы, открыто направленный против основных принципов классицизма)¹⁷.

Во второй половине 1820-х годов Герценом был написан ряд статей «по эстетике» и несколько «литературных разборов», в которых он, вероятно под влиянием «манифеста» Гюго и статей «Московского телеграфа», «уничтожал» классицизм и подвергал едкой критике эстетические каноны Буало (I, 274).

Университетский (он же и послеуниверситетский) кружок Герцена, в котором главенствовали социально-политические интересы, в значительной мере ориентировался на Францию, где постоянно кипела интенсивная политическая жизнь и велась — в самых разнообразных формах — пропаганда вольнолюбивых идей. Пропагандистский опыт «родины революции» Герцен и его друзья высоко ценили и стремились использовать в русских условиях, проповедуя идеи, враждебные самодержавному строю, в первую очередь «французскую революцию» (X, 318).

Чтение и обсуждение прочитанных книг (в том числе запрещенных), и чаще всего французских, — общественно-политических, исторических, философских, естественноведческих, беллетристических, а также французских периодических изданий, с их обнаженной идеологической борьбой, ожесточенной полемикой, раскованной и хлесткой фразеологией, — революционизировали, откладывались в сознании как фундамент для будущей деятельности — литературной, общественной, научной и журналистской... Многие из республиканских идей Герцена вскормлены были французской оппозиционной литературой и публицистикой последних десятилетий — сочинениями Б. Констана, П. Л. Курье**, Беранже, А. Карреля, речами оппозиционных ораторов — Ж. А. Манюэля, М. Ж. Лафайета, Ж. Ш. Дюпон де л'Эра, П. П. Ройе-Коллара, передовицами радикальных органов печати.

Французские идеологи буржуазного либерализма эпохи Реставрации — и республиканцы, и конституционалисты — воспринимались Герценом и его современниками как прямые наследники и продолжатели революции 1789—1793 гг. Они вели свою пропаганду, направленную против короля Карла X и его правительства, под лозунгом «Свобода, равенство и братство». Франция, как и остальная часть Европы, плыла в это время, по словам Герцена, «на всех парусах буржуазного либерализма» (XIX, 187).

Авторитет французских либералов разных направлений, ратовавших за свободу мнений, свободу совести, свободу печати и за многие другие «свободы», был в России чрезвычайно велик. От них ожидали многого, чуть ли не конкретной программы для действий в русских условиях. Поэтому Июльская революция 1830 г. показалась вначале блистательным апофеозом политического либерализма, торжеством гуманных и свободололюбивых идей.

Сообщения о кровопролитных баррикадных боях в Париже, о падении Карла X вызвали у передовой молодежи уверенность, что разразившаяся революция открывает новую эру в истории человечества. Номера орлеанистской газеты «Journal des Débats» с известиями о революции восемнадцатилетний Герцен «прочитал сто раз» и «знал наизусть» (VIII, 133).

Первые месяцы прошли в радостном возбуждении. «Какое-то горячее, революционное дуновение началось в прениях, в литературе, — вспоминал Герцен. — Романы, драмы, поэмы — все

* В «Письмах из Франции и Италии» Герцен писал о Расине: «Я его твердил на память лет десять, а потом читал лет пятнадцать; но это уже было поздно. Имей счастье завершить начальное образование под маханье „Московского телеграфа“ и под теорию российского романтизма, я посматривал свысока на человека трех аристотелевских единств(<...> Немецкая эстетика убедила меня, что во Франции искусства никогда не было...» (V, 50).

** Отметим, что Н. И. Сазонов в цитированной выше статье ставил Герцена-публициста в один ряд с П. Л. Курье (с. 200).

снова сделалось пропагандой, борьбой <...> Мы следили шаг за шагом за каждым словом, за каждым событием, за смелыми вопросами и резкими ответами, за генералом Лафайетом и за генералом Ламарком, мы не только подробно знали, но горячо любили всех тогдашних деятелей, разумеется, радикальных, и хранили у себя их портреты...» (VIII, 133—134).

Июльская революция восстановила трехцветный республиканский флаг Франции, упразднив прежний — белый с лилиями — флаг Бурбонов. Браврируя опасностью, Герцен и его друзья демонстративно обернули шеи трехцветными — сине-бело-красными — шарфами, видя в этом фрондерстве дерзновенную пропаганду «свободы и борьбы». Недаром кружок Н. В. Станкевича и Белинского назовет Герцена и его друзей «фрондерами и французами» (IX, 17).

Однако революция не привела к установлению социальной справедливости и свелась к замене одной диктатуры другой, не менее отталкивающей, вызвав сомнения в целесообразности политической борьбы. Русская молодежь стала замечать убожество революционной идеи, господствующей во Франции: «Вера в беранжеровскую *застольную* революцию была потрясена» (VIII, 161). Потрясена была при этом и вера в прогрессивные результаты Великой французской революции, которая, по выражению Герцена, «ломала — и только» (XXI, 20), вместо того чтобы создать на обломках феодализма новый общественный строй, проникнутый социальной справедливостью.

Взамен скомпрометированных идей политического либерализма молодые русские настойчиво искали «чего-то иного».

Это *иное* явилось в виде утопического учения Сен-Симона. Знаменитые брошюры создателя этого учения и его последователей — С. А. Базара, Б. П. Анфантена, протоколы судебного процесса над сен-симонистами произвели на Герцена и его друзей громаднейшее впечатление. Семена нашли давно подготовленную почву...

Сен-симонизм представлял собой, по словам Герцена, «торжественный протест против общественной лжи и неправды» (XVI, 12) и отвергал весь существующий порядок вещей. Не ограничиваясь этим, сен-симонисты, «пылкие предтечи социализма» (VIII, 161), развивали в новых исторических условиях многие дорогие Герцену откровения «Общественного договора» Руссо. Обличение «нелепости гражданского быта»; проповедь преобразования всех общественных отношений, нравственного возрождения, прекращения эксплуатации человека человеком; идея исторического прогресса и неизбежности эпохи созидания, следующей за эпохой разрушений; полный отказ от спиритуализма — вот что Герцен особенно ценил в сен-симонизме. Приоритет экономической точки зрения над прежней, чисто политической; огромная роль, отводимая сен-симонизмом естествознанию; призыв к освобождению и равноправию женщины, к «реабилитации плоти», — все это возрождало надежды, открывало перспективы осмысленной деятельности и борьбы.

Позднее все учения и школы социалистов-утопистов, от Сен-Симона до Прудона, Герцен называл «бедными» и характеризовал их как «первый лепет», как «чтение по складам», как «односторонние попытки»; в то же время он относил их к важнейшим ступеням общественного развития (XXV, 54).

Сен-симонизм являлся, как известно, религиозно-этическим учением и во многом напоминал учения времен раннего христианства *. Это придавало ему тот характер «апостольской пропаганды», экзальтированного альтруизма, который казался тогда Герцену и многим его молодым современникам истинным путем для «переплавки старого мира» в новый мир высокой нравственности и социальной справедливости.

«В первые времена <...> юности» (т. е., вероятно, в студенческие годы) Герцена глубоко поразили один французский роман (автора он не запомнил) под названием «Арминий». Роман этот «долго бродил» в его голове. С огромной впечатляющей силой воссоздано было в этой книге столкновение двух противоположных миров — античного и варварского — в период упадка Римской империи (это была одна из тем, разрабатывавшихся Сен-Симоном). Герцен настолько увлечен был «Арминием», что около 1833 г. начал писать ряд исторических сцен в том же роде (X, 238). Коллизии, изображенные во французском романе, долгие годы и по разным поводам навязчиво

* «Новое христианство» — так называлось последнее сочинение Сен-Симона. Проблемы, связанные с ранним христианством, и его сходство с сен-симонизмом возбуждали тогда у Герцена особенно большой интерес. «Именно во Франции социализм <...> — писал он в 1850-х годах, — сделался религией с Сен-Симоном, учением с Фурье, философией с Прудоном» (XIII, 245).

вставали перед Герценом при личных столкновениях с «отживающим» западным миром и его отдельными представителями.

В 1834 г. Герцен написал статью о книге видного сен-симониста Ф. Ж. Бюше *L'introduction à la science de l'histoire, ou Science du développement de l'humanité*. Статья эта не сохранилась. Известна только одна подробность: Герцен разъяснял в ней свой взгляд на сен-симонизм как на «дальнейшее развитие учения о совершенствовании рода человеческого» (XXI, 422).

Доктрина социалиста-утописта Ш. Фурье, резко критиковавшего основы современного общественного устройства и констатиовавшего возросший социальный антагонизм, также живо заинтересовала Герцена. Он считал, что учение Фурье стоит на более высокой ступени, чем сен-симонизм. Но и слабые стороны фурьеризма не остались им незамеченными: «У Фурье убийственная прозаичность, жалкие мелочи и подробности, поставленные на колоссальном основании», — отмечал он в своем дневнике 1844 г. (II, 345; ср. VIII, 253).

В первой дошедшей до нас статье Герцена, озаглавленной «О месте человека в природе» (1832) и уже отмеченной влиянием сен-симонизма, цитируются и упоминаются десятки иностранных авторов; больше всего среди них французов *. Отсутствие рабского пиетета к установившимся взглядам, горение мысли, молодой задор — определяющие достоинства этой статьи. Стиль Герцена здесь не совсем еще выработан, но ярок, эмоционален, афористичен. В манере его письма нельзя не увидеть щедрого влияния французских писателей и ученых, книги которых Герцен изучал, особенно ценя присущую французам ясность в отвлечениях, определенность во всем и их мастерство в популяризации самых трудных понятий и идей (V, 353) **.

Увлечение Герцена современной Францией и ее историей отражено в одном из сохранившихся фрагментов его ранней повести «О себе» — описании студенческой пирушки накануне завершения университетского курса (см. I, 170—182).

Среди ее участников — фанатичный почитатель Великой французской революции, друг Герцена медик Н. Х. Кетчер, который похож на террориста 1790-х годов и «как-то гильотинно умеет двигать бровями». Молодой астроном И. И. Савич, которого Герцен характеризует как «представителя материализма XVIII века», спорит с другим близким Герцену студентом, Н. И. Сазоновым — эрудитом, большим знатоком Франции, ее литературы, идей и общественно-политической жизни. В дискуссии со своим собеседником Сазонов утверждает, что «материализм сделал свое и умер» и что «Вандомская колонна — его надгробный памятник». Себя самого Герцен вывел здесь в образе «худощавого юноши с выразительным, умным взором»; он держит руки сложенными *à la Napoléon* и обращается к присутствующим с шутиливой речью на французском языке. Все поют по-французски песню Беранже. Рано утром шумная компания отправляется в Архангельское, подмосковное имение князя Н. Б. Юсупова, где собраны сокровища французского изобразительного искусства. Друзья восхищаются статуями и картинами, в том числе работами «художника-террориста» Ж. Л. Давида. В речь Герцена и его друзей густо вкраплены галлицизмы, французские слова и выражения.

Несмотря на разочарование во Франции и Июльской монархии, Герцен не утратил интереса к французской культуре. Всеобщим любимцем в его кружке оставался Беранже — свободолюбивый, жизнерадостный певец демократической Франции, и его песни — политические, романтические, бытовые, сатирические, обличительные, антиклерикальные и гривуазные — декламировались и распевались при каждом случае. Многие из этих песен Герцен знал наизусть и охотно цитировал их, хотя политическая позиция Беранже, близкая к «детскому» либерализму конца 1820-х годов, в глазах Герцена была скомпрометирована. Как личность в высшей степени честную и благородную, как истинно национального поэта Франции, Герцен всегда ставил Беранже исключительно высоко. «Это великая руина, он сохранился свят и чист», — писал он о Беранже в 1848 г. (XXIII, 90).

Необходимость пополнить и систематизировать знания, полученные в университете, Герцен отчетливо сознавал. Благодарность к своей *alma mater* он испытывал не столько за знания, сколько за приобретенный там метод научного исследования, который помог ему разделиться

* Судя по черновым вариантам этой статьи, в оценке явлений новейшей истории Герцен опирался на сочинения французских историков «доктринерской школы» Ф. П. Г. Гизо и О. Тьерри (I, 463).

** В статье «О месте человека в природе» особенно заметно влияние эклектической философии профессора и политического оратора В. Кузена, одного из усерднейших популяризаторов немецкого классического идеализма. Интерес к Кузену длился сравнительно недолго, и через несколько лет его «спутанный эклектизм» Герцен даже перестанет считать философией и назовет «высшим бездушием» (II, 8; V, 160, 353).

с дилетантизмом. Значение метода, так часто упоминаемого в письмах и сочинениях, настойчиво декларируется в кандидатской диссертации «Аналитическое изложение солнечной системы Коперника». Герцен ссылается там на «первого законоположителя методы, великого Декарта», который говорил, когда превозносили его математические открытия: «Хвалите не открытия, а методу» (I, 37). Часто повторявшиеся Герценом хвалы «методу» являются, как мы видим, своего рода вариацией на тему Декарта.

Пользуясь терминологией сен-симонистского учения, Герцен высказал в это время свои гипотезы насчет Франции, которая, по его мнению, уже выразила свою идею в прошлом, «критическом» веке и обновления человечеству принести не может. «Французский народ в грубом невежестве,— писал Герцен,— сверх того, он сделался участником разврата XVIII столетия, он нечист. Годился рушить, но им ли начинать новое, огромное здание обновления?» (XXI, 26).

Просвещение в ряде германских государств стояло тогда, по мнению Герцена, на гораздо более высокой точке, чем в буржуазной Франции. Он выразил намерение обработать эту мысль «в статье для друзей» (XXI, 26). Из подчеркнутых слов видно, что Герцен понимал невозможность появления этой статьи в подцензурной печати.

Доказательства превосходства германского просвещения над французским Герцен, вероятно, извлек из книги Кузена «Rapport sur l'état de l'instruction publique dans quelques pays de l'Allemagne». Эту работу Герцен вскоре перевел в сокращенном виде на русский язык; в свет она, однако, не вышла вследствие ареста переводчика, и часть уже отпечатанных листов, хранившихся в следственном деле, исчезла, так же как и сама рукопись (XXX, 847). Надо думать, что Герцен не ограничился в ней пассивным воспроизведением текста Кузена и радикально переработал книгу, снабдив ее предисловием, в котором, насколько это было возможно в подцензурном издании, изложил свои просветительские взгляды.

О «юной» французской литературе Герцен в начале 1830-х годов был сравнительно высокого мнения. В статье «Гофман», написанной еще до ареста (1833—1834), он отметил крупный шаг, сделанный такими писателями, как Бальзак, Э. Сю, Ж. Жанен *, А. де Виньи. После состояния «похмелья», в котором находилась Франция в период Реставрации, писал Герцен, «явились эти анатомические разъятия души человеческой, тут-то стали раскрывать все смердящие раны тела общественного, и романы сделались психологическими рассуждениями». Герцен делает здесь оговорку, что происхождение этого рода произведений не французское, а заимствовано из Германии, — французы, полагал он, перенесли их к себе целиком, «прибавив свое разочарование и свой слог» (I, 70).

Как и другие современники (в частности, Лермонтов), Герцен долго находился под сильным впечатлением от обличительных стихотворений О. Барбье из сборника «Ямбы». С грозным пафосом поэт-демократ предавал в нем анафеме буржуазных властителей Франции и политиканов-либералов, изменивших народу во время Июльской революции. Саркастически клеймил он и «жидноволосого корсиканца» Наполеона I, «сломавшего спинной хребет» оседланной им «непокорной и дикой кобылице» — революционной Франции. В некоторых ямбах Барбье, по мнению Герцена, встречаются такие слова и стихи, которые «режут, делают боль, будят нашу внутреннюю скорбь». Во всей французской литературе после Монтеня только Барбье и Дидро, по новейшему мнению Герцена, иногда проявляли «талант искренности и отрицания» и находили убедительные аргументы, способные отрезвить французов от их самодовольного и преувеличенного патриотизма (X, 79; XIII, 172) ¹⁸.

Как вспоминал один из членов герценовского кружка, «Ямбы» Барбье в 1830-х годах «волновали, захватывали и приводили в искренний восторг» Герцена и его друзей ¹⁹.

Середина 1830-х годов — период расцвета у Герцена романтических настроений — период, когда он, по его словам, «жил в сфере общечеловеческих, современных вопросов, придавая им субъективно-мечтательный цвет» (II, 234). С умонастроением и вкусами Герцена в это время особенно гармонизировало творчество В. Гюго, главным образом «Собор Парижской Богоматери». В годы вятской ссылки он без конца перечитывает этот роман, в частности главы, посвященные старинной архитектуре.

В конце десятилетия Герцен, однако, охладевает к Гюго. Самый жанр романтической драмы, который преимущественно разрабатывался тем в 1830—1840-х годах, уже казался Герцену чем-то

* Одновременно Герцен отмечал и слабые стороны Жанена как художника. В той же статье он упоминает о его «натянутых, вытянутых, раскрашенных повестях — детях странного соединения философии XVIII века с германской поэзией» (I, 76).

безнадёжно устаревшим. «Какие-то сумасшедшие разных веков ходят растрепанные по сцене, машут руками, кричат, и все помешались на одном пункте — на риторике», — раздраженно замечает он в «Письмах из avenue Marigny» (1847) и там же с острой иронией характеризует Гюго как «одного древнего писателя» (V, 229, 404). Только в 1850—1860-х годах Герцен снова по достоинству оценит творчество «великого ратора и поэта» и одобрительно отнесется к его сборнику политических стихотворений «Les châtiments», направленных против Наполеона III и бонапартизма.

«Отверженных» Гюго (1862) Герцен признавал крупным общественным явлением, хотя указывал на серьезные идейные и художественные просчеты писателя. В одной из глав «Концов и начал» мы находим развернутый анализ этого «романа-омнибуса». По мнению Герцена, Гюго потерпел неудачу в «утомительно подробной» психологической разработке образа Жана Вальжана и в описании его страданий. В этом персонаже, как считал Герцен, понятна только его «внешняя борьба доброго, несчастного зверя, травимого целым гончим обществом». Внутренняя же жизнь бывшего каторжника остается читателям «посторонней». В личности молодого, «бездушного, ограниченнейшего» буржуа Мариюса, «типического представителя пошлеющего поколения», уже не имеющего революционной «закваски XVIII века», Герцен видит отступление новой эпохи от прежних свободолюбивых и гуманных тенденций. Эти страницы герценовской статьи — как бы продолжение его полемики с Гюго, вызванной пренебрежительной оценкой в «Былом и думах» юного поколения французов 1830-х годов (VIII, 151—152; IX, 45), за которое горячо вступился автор «Отверженных». Выведенная Гюго во весь рост фигура «шкакала порядка» — героя полиции, сыщика Жавера — показала Герцену в высшей степени отвратительной — в ней он нашел подтверждение своего тезиса о непреодолимом пристрастии французов к полиции и шпионству (XVI, 153—155) * 20.

В конце 1830-х годов Герцен совершенно охладел к французской беллетристике, хотя это было время подлинного расцвета художественной литературы во Франции. «Французская философия французских романов» чуть ли не равняется нулю, если не стоит даже еще ниже, — к такому выводу приходит он в 1839 г. после чтения комплекта «толстого» парижского журнала «Revue des Deux Mondes» (XXII, 54). Можно серьезно сомневаться, достаточно ли глубоко успел Герцен ознакомиться с современной французской художественной литературой после нескольких лет ссылки в Вятке, где французских книг не было. В сочинениях и письмах Герцена совсем не упоминаются произведения таких первостепенных светил литературной Франции, как Стендаль и Мериме. О Бальзаке молодой Герцен также не упоминает. Правда, сохранилось свидетельство современника (Н. И. Сазонова) о восторженном отношении членов герценовского кружка (и, надо думать, самого Герцена) к «Шагреневой коже» (прим. 19 и XX, 718), но этот «философский этюд» с «ирреальным» сюжетом занимает особое место среди произведений выдающегося французского писателя. Вероятно, в Герцене еще сохранялся тогда романтический критерий, мешавший ему понять и принять новаторский реализм зрелого Бальзака **. Через полтора десятилетия, в «Былом и думах», он гораздо вернее и беспристрастнее оценит немеркнущие достоинства французской литературы 1830-х годов, в которой, «с ведома писателя или нет, везде сильно была социальная артерия, везде обличались общественные раны, везде слышался стон сгнетенных голодом, невинных каторжников работы» (VIII, 327) ***, а в конце 1860-х гг., перечитывая отдельные произведения Бальзака, Герцен окончательно убедится в могуществе таланта и психологической глубине этого писателя («При всех недостатках Бальзак — великий мастер. В нем есть диккенсовские картины; я понимаю, почему Тэн недавно писал об нем» — XXX, 12—13) 21. Пока же он убежденно противопоставляет «немогущей» современной литературе

* См., например, в «Письмах из Франции и Италии»: «У них страсть к полиции и к власти; каждый француз в душе полицейский комиссар, он любит фронт и дисциплину; все независимое, индивидуальное его бесит» и т. д. (V, 173).

** В начале 1850-х годов Герцен доброжелательно отзовется о «Тридцатилетней женщине» и «очаровательных женщинах Бальзака», противопоставляя их развращенным героиням А. Дюма-сына, дамам «с камелиями и без камелий» (XII, 477).

*** О романах Сю, Бальзака и Дюма один из персонажей «Сороки-воровки» высказывает следующее, явно герценовское суждение: «...удивительное дело, самые пустые французские романы больше развивают женщину, нежели очень важные занятия развивают их мужей, и это отчасти оттого, что судьба так устроила француза: что б он ни делал, он все учит. Он напишет длинный роман с неестественными страстями, с добродетельными пороками и с злодейскими добродетелями да по дороге или, вернее, потому, что это совсем не по дороге, коснется таких вопросов, от которых у вас дух займется, от которых вам сделается страшно, а чтоб прогнать страх, вы начнете думать» (IV, 216—217).

французов их литературу периода Реставрации, когда «новая историческая школа, новая философская, новая поэтическая печатала прекраснейшие произведения» (XXII, 10).

Вопросам, связанным с писательским мастерством, стилем, поэтикой, Герцен, в противоположность другим литераторам-профессионалам, первенствующего, а тем более определяющего значения никогда не придавал. Основой основ для него всегда являлась верная передача жизненной правды, социальная направленность, всепроникающая гуманность, философская глубина. Совершенство формы, конечно, подразумевалось само собой как неперемное условие подлинной художественности, но сосредоточивать внимание на этой стороне творческого процесса Герцен не считал нужным. Произведения, не проникнутые передовым и современным мировоззрением и остро критическим отношением к социальному злу, отталкивали его, даже если они и отличались ярко выраженной талантливостью.

Единственным крупным художником-гуманистом во всей французской литературе 1830—1840-х годов Герцен считал Жорж Санд. Ее социальными романами, созданными под влиянием идей Руссо, Сен-Симона, Леру, он не устал восхищаться. В Жорж Санд Герцен видел недосыгаемый образец передового писателя, смелого обличителя пороков буржуазного общества, выдвигающего в то же время высокогуманную программу общественного и нравственного обновления.

Романы Жорж Санд давали Герцену отчетливое представление о современной Франции и о французском народе как в социальном, так и в нравственном аспектах. Жорж Санд чуть ли не первая в мировой литературе сделала объектом художественного воплощения рабочего, причем изображала его не в виде убогого отщепенца, а как человека богатого одаренного, с яркой внутренней жизнью и благородными идейными исканиями *, что сильно повлияло на взгляды Герцена, рассматривавшего французский трудовой люд как «единственный народ Европы». Она выступала в защиту угнетенных, особенно женщины. Ее презрительно-враждебное отношение к буржуазии и в то же время возвышенный взгляд на французских пролетариев как на людей будущего сильно импонировали Герцену, во многом совпадая с его собственными взглядами. Это довольно частый лейтмотив его публицистики, художественных произведений и писем. В статьях 1840-х годов, в романе «Кто виноват?», в повестях «Сорока-воровка» и «Доктор Крупов», на многих страницах «Былого и дум» мы находим отчетливые отзвуки идейных исканий и проблем, волновавших Жорж Санд. Нельзя не отметить при этом, что увлечение творчеством Жорж Санд — одна из характернейших особенностей идейного развития передовых людей России той эпохи — от Белинского до молодого Щедрина.

Не только творчество Жорж Санд и ее «великое перо», но и личность этой «высокой женщины», «женщины-Робеспьера», «женщины St.-Juste» (XXI, 309) долго вызывала у Герцена восторженные эпитеты. Ее одну из современных французских писателей, рекомендуемых «для изучения жизни», внес он в 1848 г. в краткий список литературы наряду с Бомарше, «Манон Леско» аббата Прево, Вольтером и Дидро (XXIII, 107).

* Вопрос о том, не поэтизирует ли Жорж Санд своих персонажей-рабочих, в частности героев ее романа «Compagnon du Tour de France», нередко возникал у Герцена и его московских друзей. В первые месяцы пребывания во Франции Герцен сделал вывод, что «нисколько» (XXIII, 89).



«ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЕ СОЧИНЕНИЯ ЖОРЖ САНД»

Том второй. Париж, 1853

Обложка (иллюстрация Мориса Санда к роману «Мора»)

В этом томе напечатан роман «Орас», в герое которого Герцен отметил типичные черты буржуазной интеллигенции

О Жорж Санд и ее произведениях в сочинениях и письмах Герцена встречается исключительно много упоминаний — пожалуй, ни один другой французский писатель не может с ней сравниться в этом отношении. Герцен откликнулся на большинство романов и повестей Жорж Санд «социального» периода ее творчества: «Андре», «Грех господина Антуана», «Жак», «Звонар», «Консуэло», «Лукреция Флорини», «Маленькая Фадетта», «Мельник из Анжибо», «Мопра», «Орас», «Спиридион», «Странствующий подмастерье», «Франсуа-найденый», «Чертова лужа». Прочитанный им с жадностью роман «Орас» Герцен находил «великим произведением, вполне художественным и глубоким по значению». Характеристике романа и его главного героя он посвятил большую запись в дневнике (II, 222—223) и затем не раз возвращался в своих сочинениях к этой теме.

Характерную запись о беседе с Герценом по поводу Жорж Санд в середине 1840-х годов оставила его родственница С. В. Энгельгардт (Ольга Н ***): «Он заговорил о Ж. Санде со жгучим красноречием. В его сочувствии к знаменитой писательнице сказались душевная теплота и искренность. Он стоял за свободу чувства, отстаивал права женщины против притеснительных условий общества и черствости понятий отживающего поколения...»²².

Самым высоким авторитетом в вопросах, касающихся женщины, называл Герцен Жорж Санд и в начале 1850-х годов; он страстно желал, чтобы эта выдающаяся писательница, «воплощающая в своей личности революционную идею Женщины», сказала свое веское слово по поводу его семейной драмы (XXIV, 344, 352—354)²³.

Преклонение перед Жорж Санд не помешало, однако, Герцену увидеть и слабые стороны ее мирозерцания и творческого метода. Так, он писал о ней в следующей «групповой» характеристике конца 1840-х годов: «Французы нисколько не освободились от религии, читайте Ж. Санд и Пьера Леру, Луи Блана и Мишле, — вы везде встретите христианство и романтизм, переложенные на наши нравы; везде дуализм, абстракция, отвлеченный долг, обязательные добродетели, официальная, риторическая нравственность без соотношения к практической жизни» («Письма из Франции и Италии» — V, 176).

Французская социально-политическая литература 1840-х годов отличалась исключительно богатством и разнообразием.

В 1839 г. Герцен с восторгом прочел философский, научный и промышленный словарь «Encyclopédie nouvelle», частично составленный автором эклектической теории «христианского социализма» П. Леру *, «поэтом, примыкающим к сен-симонизму и к талмуду» (XXIX, 112). Ожесточенная критика капиталистического строя сочеталась здесь с проповедью нравственных перемен в общественной жизни как неперемennого условия социальных преобразований; проповедь революционного вмешательства — с религией самоусовершенствования; призывы к революции — с мифами о переселении душ. Герцен охарактеризовал эту книгу как «дивный памятник веденью XIX века» (XXII, 386). Самого Леру он считал тогда сильнейшим мыслителем Франции и в 1848 г. относил к вождям социализма наряду с П. Ж. Прудоном, Э. Кабе и Ф. В. Распайлем. С острым интересом, близким к восхищению, слушал он тогда его публичные выступления. Еще через двадцать лет Герцен подружится с этим человеком, которого «привык» любить и уважать. Леру, буквально влюбленный в Герцена, восхищающийся его энергичной и оригинальной личностью, принесет ему как-то для прочтения свой последний, проникнутый библейской мистикой труд, и Герцен, подавленный печалью и ужасом, назовет его сочинение «бредом поэта-лунатика», сошедшего «с большого ума» (II, 8; V, 368; XI, 497—498; XXIX, 104).

Познакомился Герцен в конце 1830-х годов и с нашедшей книгой «Les affaires de Rome» родоначальника «христианского социализма» аббата Ф. Ламенне, посадившего, по выражению Гейне, «на крест якобинский колпак»²⁴. Поборник социальной справедливости и раскрепощения, глубоко подрубивший «корни католицизма» (XI, 153), Ламенне с негодованием иконоборца обрушивался на католическую церковь и правительство Луи Филиппа. «Сколько огня, поэзии, увлечения», — восклицал Герцен после чтения книги «Les affaires de Rome», напомнившей ему речи великих трибунов 1790-х годов (XXI, 297—298). Эту «поэзию гнева» Герцен впоследствии по достоинству оценил, слушая публичные выступления Ламенне (XII, 278).

Сочинение А. де Токвиля «De la démocratie en Amérique», позднее приобретшее большую популярность и в России, нагнало на Герцена скорбь и грусть — по-видимому, вследствие контраста между политическим режимом Соединенных Штатов Америки, описываемым Токви-

* В середине 1830-х годов Герцен, по собственному признанию, находился под влиянием идей «мистически-социальных», вятых из Евангелия и Жан-Жака, на манер французских мыслителей вроде Пьера Леру (VIII, 288).

лем, и положением дел на родине²⁵. Тезис Токвиля, что «две страны несут в себе будущее: Америка и Россия», впоследствии без конца повторялся и развивался Герценом. Ему пришлось случайно встретиться с Токвилем в Париже во время июньского рабочего восстания 1848 г. Судя по тону, с которым Герцен описывает в «Былом и думах» эту встречу, Токвиль и как политический деятель и как человек отнюдь не пользовался его уважением (см. X, 30; XXI, 386).

Широкоохватное знакомство с общественной и культурной жизнью Франции особенно характерно для петербургского и московского периодов жизни Герцена (1840—1846). Прежде, во время ссылки, ему приходилось довольствоваться случайными сведениями и более или менее случайной литературой. Теперь он имел бесконечно больше возможностей для выбора книг и периодических изданий, так же как для общения с разносторонне образованными собеседниками, хорошо знающими современную Францию и ее историческое прошлое*. Оттачивающие мысль оживленные споры, посещение публичных лекций, спектаклей французской труппы и французских пьес в русских театрах²⁶, сношения с людьми, тесно связанными с Францией, и вследствие этого — знакомство с теми сторонами ее повседневной жизни и культуры, которые современная литература и периодическая печать не всегда освещали, — все это обогащает Герцена знанием страны, в которой ему через несколько лет придется жить и действовать... **

Еще при жизни Герцена Чернышевский отметил (в «Очерках гоголевского периода русской литературы»), что внимание автора «Писем об изучении природы» в конце 1830-х — начале 1840-х годов сосредоточено было преимущественно на истории, и «так как в последнее время главным театром исторического развития была Франция», то Герцен интересовался преимущественно ее историей²⁷.

События минувших веков вызывали у Герцена острые ассоциации с современностью; обращение к прошлому рождало провидение будущего. «Былое пророчествует» — так сформулировал Герцен свою излюбленную мысль после лекции Т. Н. Грановского, посвященной западноевропейской, и в частности французской, истории (II, 112)***.

В начале 1841 г. Герцен поместил в «Отечественных записках» свой перевод-переделку первой главы «Рассказов о временах меровингских» французского историка О. Тьерри. В предисловии к публикации он с одобрением отмечал верность взгляда этого выдающегося ученого и популяризатора «на события французской истории и увлекательный рассказ самих событий».

„Завоевание Англии норманнами“ и „Рассказы о временах меровингских“ (<...>), — писал Герцен, — великие, обширные эпопеи, в которых события и индивидуальности воссоздаются с какой-то художественной рельефностью, в которых давнопрешедшие века выходят из могилы, стряхают с себя пыль и прах, обрастают плотью и снова живут перед вашими глазами» (II, 7). Таков был идеал Герцена в воссоздании прошлого. Он был убежден, что исторические дисциплины, живо, ярко, логично и увлекательно излагаемые французами, могут служить образцом для популяризации и других наук, в частности философии. В этом мастерстве популяризации, «где француз дома и полон поэзии», он видел многообещающий фактор не только просвещения, но и революционизирования масс. Герцен утверждал, что, когда французы, применив свою природную логику и ясность мысли, примутся обобщать и популяризовать германскую науку, наступит «великая фаза революционной деятельности». Он полусмутливо предсказывал неизбежность революционного переворота во Франции: «Вот как французы примутся писать комментарии к таким идеям, того и смотри, что попадешь на фонарь». И остроумно добавлял: «Французы народ веселый, а шутить не любят» (II, 100).

* А. Я. Панаева вспоминала о своем пребывании у Герцена в 1840-х годах: «Шли горячие споры о положении Франции, так как на нее обращено было общее внимание как на лабораторию, в которой совершались химические опыты над разными современными общественными и политическими вопросами»²⁵.

** Одним из достоверных источников информации об интеллектуальной жизни Франции был для Герцена широко осведомленный А. И. Тургенев, друг Пушкина и брат декабриста. «Приятно слушать его всесветные рассказы, знакомства со всеми знаменитостями Европы» («от Шатобриана и Рекамье», — писал Герцен (II, 242; IX, 153). Он, конечно читал публикации «Парижских писем» Тургенева в петербургских и московских журналах²⁷. О более ранней эпохе Герцен многое узнал из рассказов О. А. Жеребцовой, его петербургской знакомой, принимавшей немалое участие в общественно-политической жизни Запада начала века (см. IX, 72). Нельзя не указать попутно как на незаурядный источник информации о Франции «Парижские письма» Л. Берне и публицистические циклы Г. Гейне — «Французские дела», «Лютетия», «О французской спене» и др.

*** Ср. в «Концах и началах»: «Будущее импровизируется на тему прошедшего» (XVI, 198).

Герцен полагал, что философия как наука все еще не дается французам: «Где нет философия как науки, там не может быть и твердой, последовательной философии истории», — заявлял он (II, 8).

Появление исторических сочинений, отличающихся яркостью и общепонятностью изложения, Герцен всегда горячо приветствовал ²⁹.

Обобщение материалистических представлений о природе и внедрение их в «поток общественного сознания» (II, 140) он также считал одной из главных задач философии. Излагая эту мысль в статье «Публичные чтения г-на профессора Рулье» (1845), Герцен для ее подтверждения ссылается на автора «Гаргантюа и Пантагрюэля». «Рабле, — пишет Герцен, — очень живо понимавший страшный вред схоластики на развитие ума, положил в основу воспитания Гаргантюа естественные науки...» *. И добавляет: «Французы сделали больше всех для популяризации естественных наук, но их усилия постоянно разбивались об толстую кору предрассудков» (II, 140—142). В этой статье цитируются и упоминаются выдающиеся французские естествоиспытатели — Ж. Л. Бюффон, Ж. Кювье, Э. Жоффруа Сент-Иллер, М. Ж. П. Флуранс, Ж. Б. А. Дюма, Ф. В. Распайль, Ф. Мажанди. Развернутые характеристики Бюффона и Кювье свидетельствуют не только о внимательном, но и, можно сказать, о любовном изучении их трудов ³⁰.

В 1842—1845 гг. Герцен вел дневник, значение которого для изучения его внутренней жизни и духовного развития, можно сказать, неисчерпаемо. Дневник этот разносторонне освещает и тему «Герцен и Франция».

«Cours de la littérature française. Tableau du XVIII siècle» профессора Сорбонны, создателя новой романтической историографии А. Вильмена оживляет в памяти Герцена «полузабытые» времена энциклопедистов, имена Вольтера и Бюффона («великие имена!») и вызывает новые мысли о XVIII в., о таких деятелях, как Дидро, Гольбах и пр. С небольшими вариантами эти размышления о просветителях XVIII в. перешли потом из дневника на страницы «Писем об изучении природы» и других сочинений.

Книга Вильмена долго служила Герцену чуть ли не основным источником сведений о французской литературе XVIII в.

Летом 1843 г. он погружен в чтение обширной монографии Ф. П. Г. Гизо «Histoire de la révolution d'Angleterre depuis l'avènement de Charles I jusqu'à l'avènement de Charles II». Некоторые факты, приводимые в этой книге, вызывают у Герцена ассоциации с русской действительностью — черта, для него особенно характерная **.

Чтение труда другого историка «доктринерской школы», А. Карреля, «Histoire de la contre-révolution en Angleterre» вызывает ряд записей в дневнике о самодержавии в его западном и русском вариантах (II, 293—294).

С обостренным вниманием изучает Герцен многотомную «Histoire de dix ans» Л. Блана — детализированное и документированное исследование первых десяти лет Июльской монархии. Книгу эту Герцен характеризует как чрезвычайно значительное явление по взгляду, изложению и разоблачениям. После чтения книги Блана в сознании Герцена окончательно выкристаллизовывается истинное состояние дел в современной Франции: цинизм и безнравственность правящего класса, отчаянное положение пролетариата. Прозаический, «далекий от всякой гениальности» облик «короля-гражданина» Луи Филиппа, «царя во имя посредственности и для нее», поселяет в нем отвращение (II, 284).

«Историю этого времени читать грустно, — записывает Герцен, — все так мелко, пошло... Разумеется, прорываются громадные деяния и громадные характеры, но это исключение» (II, 321).

В формировании взглядов Герцена на французскую буржуазию и буржуазию вообще, а также на противостоящий ей пролетариат эта работа Блана сыграла исключительно важную роль.

Чтение второго тома книги Блана заставляет Герцена сделать вывод, который после поражения революции 1848 г. он будет постоянно варьировать как итог горького опыта неудавшихся революций: политические перевороты в новое время без переворота социального невозможны, т. е. безрезультатны (II, 287).

* «Рабле идет еще дальше <чем Сервантес>, с отважной дерзостью француз», — замечал Герцен о великом гуманисте в «Дилетантизме в науке» (III, 36).

** Особенно типичен в этом отношении этюд Герцена о положении французского общества XVIII в., появившийся в «Колоколе» 1857 г., — «Революция в России» (XIII, 24—28).

Прочитав третий том, он записывает: «Необходимость социального переворота теперь стала очевидна, враги развития, как Гизо, понимают и трепещут <...> Франции принадлежит великая инициатива этого переворота. Она ему положила начало Конвентом. Болезненно достигает она до осуществления. Достигнет ли, когда? — Все равно человечество ей не забудет первый шаг» (II, 288—289).

Книга Блана открыла Герцену причины поражения июльской революции 1830 г., во многом схожие с теми, которые приведут затем к краху и революцию 1848 г.: «Демократия была бессистемная, социализм — едва родившийся» (II, 284). После изучения «Histoire de dix ans» для Герцена окончательно уяснилась пагубная роль либералов и «политических революционеров» в Июльской революции и в годы правления Луи Филиппа. Приехав во Францию в последние месяцы существования Июльской монархии, Герцен был подготовлен к тому, что увидал в разных сферах политической и социальной жизни. И этим он в немалой мере обязан был сочинению Блана.

Впоследствии Герцен глубоко разочаруется в Блане как теоретике и практике революционного движения; он не раз возложит на него ответственность за неудачи революции 1848 г., а его самого охарактеризует как «дилетанта социализма», ничего в социализме не смыслящего. Знаменитую работу Блана «De l'organisation du travail» он назовет «пустой». Именно она и «несколько блестящих фраз составили ему репутацию», — сурово констатирует Герцен.

К новым выводам относительно Франции и ее общественной жизни привели Герцена и две другие нашумевшие книги: «Essais de palingénésie sociale» философа-эклектика П. С. Балланша и «La destinée sociale» социалиста-утописта, ученика и последователя Фурье — В. Консидерана.

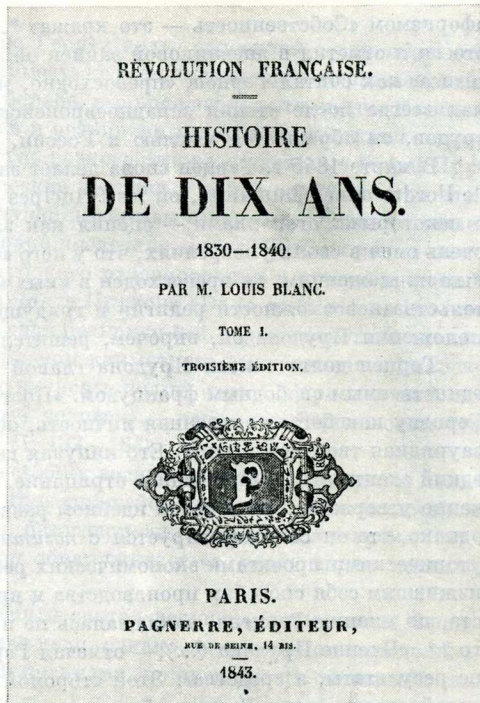
Книгу Балланша Герцен не принял всерьез, только перелистал. Вывод, сделанный им при этом, афористически четок: «Ум <...> пластический, чувственно логический и не способный к диалектике, но множество *предчувствий* истинных, симпатий и придыханий к будущему <...> Имя его не должно забывать ни в развитии философии истории, ни в истории социализма» (II, 342).

Сочинение Консидерана представляло собой переработку и дальнейшее развитие системы Фурье; большое место уделено в ней анархии капиталистической экономики, кричащим противоречиям между буржуазией и пролетариатом. Герцен нашел, что оно «несравненно энергичнее, полнее, шире по концепции и по исполнению всего вышедшего из школы Фурье. Разбор современности превосходен, становится страшно и стыдно. Раны общественные указаны, и источники их обличены с беспощадностью» (II, 359).

Несмотря на высокую оценку критической стороны труда Консидерана, Герцен не был ослеплен проповедуемой в нем фурьеристской утопией, считая, что это неполное решение задачи. Впоследствии он охарактеризовал теорию Консидерана как теорию «уступчивую» (V, 314).

В дневнике отражено увлечение Герцена первыми произведениями П. Ж. Прудона. «Злобный характер» сочинений Прудона, т. е. их обостренный и откровенный радикализм, по мнению Герцена, объяснялся и оправдывался гнусностью современного общественного состояния, тяжелейшим положением французской бедноты, жестокостью буржуазного законодательства (II, 266—267).

Только в декабре 1844 г. Герцену удалось наконец достать нашумевшую брошюру Прудона «Qu'est-ce que la propriété...?», изданную во Франции еще в 1840 г. и поразившую читающий мир



ЛУИ БЛАН. ИСТОРИЯ ДЕСЯТИ ЛЕТ.
1830—1840

Одно из первых изданий книги. Париж, 1843
Титульный лист первого тома

афоризмом «Собственность — это кража» *. Главный тезис брошюры для Герцена не был нов, что он и отметил в дневниковой записи об этом «прекрасном произведении». Развитие же этого тезиса, как считал Герцен, «превосходно, метко, сильно, остро и проникнуто огнем». И, почти как всегда после чтения западноевропейских философских, исторических и социологических трудов, он обращается мыслью к России, к ее проблемам и нуждам (II, 391; ср. 320—321).

В марте 1845 г. Герцен снова делает запись о Прудоне, в связи с его сочинением «Création de l'ordre dans l'humanité, ou les Principes de l'organisation économique». Эту книгу Герцен — с некоторыми оговорками — оценил как замечательнейшее явление; он находит, что Прудон очень смел в своих умозрениях, что у него «бездна ярких мыслей», что, «выходя везде к конкретным приложениям, он превосходит в иных местах» и что «самая лучшая часть — это его доказательства невозможности религии в грядущем; вывод его смел, энергичен и силен». Некоторые положения Прудона он, впрочем, решительно оспаривает (II, 408—409).

Герцен долго считал Прудона главой подлинно революционного принципа во Франции и единственным свободным французом. «Поэт диалектики», Прудон и в дальнейшем импонировал Герцену как богато одаренная личность, освободившаяся от традиционных влияний, и как незаурядная творческая сила. Его кипучая деятельность, бескомпромиссный атеизм, смелая речь, едкий скептицизм, беспощадное отрицание, неумолимая ирония восхищали Герцена, и он откровенно утверждал, что в своем идейном развитии многим обязан Прудону. Это вовсе не значило, однако, что он солидаризируется с *позитивной* стороной доктрины Прудона, с его «детскими», утопическими проектами экономических реформ, смысл которых состоял в возвращении к давно изжившим себя способам производства и кредита. «Страшная сила» этого мыслителя и публициста, по мнению Герцена, заключалась не в созидании, а в *отрицании* и критике существующего **. «Чтение Прудона <...>, — отмечал Герцен, — дает особый прием, оттачивает оружие, дает не результаты, а средства». Этой стороной своих произведений, мощной диалектикой, огнем и силой своего слова Прудон, без сомнения, сильно возбуждал «творческий нерв» публициста-обличителя, будущего издателя «Колокола». Прудон, по убеждению Герцена, начался «новый ряд французских мыслителей», его сочинения составляли переворот не только в истории социализма, но и в истории французской логики. Брошюру Прудона «Confessions d'un révolutionnaire» (1849) Герцен находил великолепной; последняя ее страница — восторженный гимн иронии, — по мнению Герцена, была исполнена самой высокой поэзии и казалась ему «глубочайшим достижением действительности, жизни».

Восхищался Герцен и книгой Прудона «Manuel du spéculateur à la bourse» (1853), в которой видел воспроизведение «социальной патологии» буржуазного общества и «новую вивисекцию» разлагающегося общественного организма (IV, 529; X, 184—185; XIII, 95—96; ср. XXIII, 177, 208; XXVI, 94).

Отрицание Прудонем государства и государственности, культ свободы личности также находили у автора «С того берега» более чем сочувственный отклик.

Из тактических соображений Герцен иногда пытался для успеха дела использовать международный авторитет Прудона. В «Былом и думах» он прямо сознается в этом (на что, кажется, ранее не обращалось внимания) ***.

Прудону и его деятельности Герцен посвятил в «Былом и думах» целую главу (см. X, 183—201).

* Эта книга Прудона, по словам К. Маркса, «электризовала читателей[и] при первом своем появлении на свет произвела сильное впечатление» ³¹.

** Смелое выступление Прудона с трибуны Национального собрания после Июньских дней, 31 июля 1848 г. (на этом заседании, вероятно, присутствовал сам Герцен), усиливало его восхищение (см. X, 188—189; XXIII, 80). Продолжение Прудонем политической и литературной деятельности в условиях строгого тюремного заключения также вызывало уважение, и Герцен охарактеризовал своего французского коллегу как «нового Самсона, потрясающего из недр своей тюрьмы европейское здание» (VII, 242).

*** «Оттого-то я и старался, когда мог, ставить свою мысль под покровительство европейской нянюшки. Ухватившись за Прудона, я говорил, что у дверей Франции не Катилина, а смерть», — писал Герцен в «Былом и думах» (XI, 480). Это выражение Прудона Герцен употребил в статье «Omnia mea mecum porto» из «С того берега», придав ему интерпретацию, не имевшую ничего общего с прудоновской (см. X, 482—483). Отмечу аналогичное указание Герцена, сделанное в 1867 г.: «Я <...> очень доволен, что могу взять за руку Кине и сказать: „Вот и почтенный друг мой Кине говорит в 1867 о латинской Европе то, что я говорил обо всей в 1847 и во все последующие“» (XI, 480).

К мелкобуржуазному характеру теорий Прудона Герцен долго относился с удивительной снисходительностью, несмотря на свою острую нетерпимость ко всем проявлениям буржуазности. Подчеркнутое равнодушие Прудона к политической борьбе, его враждебное отношение к социализму, готовность идти на компромиссы с буржуазией и реакционными правительствами долгое время не встречали со стороны Герцена сколько-нибудь резкого отпора. Отдельные акции Прудона приводили его в недоумение, вызывали иронические реплики и порой возмущали до глубины души, но чаще всего Герцен принимал их за случайные срывы и недолговременные «падения» крупной, из ряда вон выходящей личности. Однако последние труды Прудона решительно осуждались Герценом; они явились поводом для глубокого разочарования в прежнем «единомышленнике». Первым сочинением в этом ряду была книга Прудона «De la justice dans la révolution et dans l'Eglise» (1858), в которой он развивал свой реакционный, «средневековый» взгляд на женщину, брак и семью, квалифицированный Герценом как «строго высказанная и диалектически развитая нелепость». «Человек, который мог написать целый том <...> римско-католической клеветы против женщины,— это не свободный человек»,— заключал Герцен свой суд над Прудоном и его книгой (II, 61; X, 196—201; XXVI, 182—184).

Еще больше возмутило автора «Былого и дум» в 1860-х годах отношение Прудона к польскому вопросу, оправдание политики угнетения, проводившейся царским правительством в Польше. Надо сказать, что К. Маркс, как и Герцен, безоговорочно осуждал в это время Прудона, заявляя, что в своей книге о Польше * он обнаруживает «в угоду царю» «цинизм кретины»³².

Эта недостойная позиция человека, которого Герцен считал ведущим социалистом Франции, беспредельно его огорчала. До открытого разрыва дело, однако, не дошло; они продолжали время от времени обмениваться внешне любезными письмами, но прежние их отношения так и не восстановились.

«Как пытка, как камень, приваленный к груди», подействовала на Герцена знаменитая книга маркиза де Кюстина «La Russie en 1839». Это сочинение, обличавшее русское самодержавие, Герцен называет в своем дневнике 1843 г. самой занимательной и умной книгой, написанной иностранцем о России. Несмотря на ошибки и поверхностность многих оценок Кюстина, Герцен находит у него «истинный талант путешественника, наблюдателя, глубокий взгляд, умеющий ловить на лету, умеющий по нескольким образчикам догадаться о массе». Книга Кюстина «вовсе не враждебна России». Напротив, писал Герцен, — «он более с любовью изучал нас и, любя, не мог не бичевать многого, что нас бичует» (II, 311—312, 315).

В статье «La Russie» (1849) дана более развернутая и разносторонняя характеристика сочинения Кюстина. Автор книги, как считает теперь Герцен, «по легкомыслию, впал в большие ошибки; из страсти к фразе он допустил огромные преувеличения — как в хвале, так и в осуждении, но все же он хороший и добросовестный наблюдатель <...> Его книга кишит противоречиями; но сами эти противоречия, нисколько не скрывая правды от внимательного читателя, показывают ему ее с разных сторон». При этом Герцен отмечает, что Кюстин не только не узнал русского народа, так как вращался только в придворных и правительственных сферах, но ничего не узнал и о «мире литературном и научном» (VI, 196—198).

Огромную роль в изучении Герценом социальной жизни современной Франции сыграли зарубежные периодические издания 1840-х годов. В них находил он конкретные сведения о росте пауперизма, обострении социальных противоречий, приближении революционных бурь. Характерна в этом отношении одна из записей в дневнике, сделанная после чтения в парижской радикальной газете «Siècle» статьи, обнажающей классовый характер французского буржуазного суда. «Подобные случаи выставляют разом во всей гнусности современное общественное состояние»,— резюмирует Герцен, делая вывод о необходимости неотложных социальных решений в духе Фурье (II, 266—267).

Еще находясь в России, задолго до Февральских и Июньских дней 1848 г., под непосредственным впечатлением от газетных сообщений Герцен приходит к пророческому выводу, что «без крови не развяжутся эти узлы» и что «отходящее начало <...> готово всеми нечеловеческими средствами отстаивать себя» (II, 309).

Герцен не закрывал глаза на слабые стороны французской буржуазной прессы. Даже в органах печати, близких ему по направлению, он отмечал резко отрицательные свойства. Так, давая восторженную оценку острой публицистичности «Revue Indépendante», издававшегося

* «Si les traités de 1815 ont cessé d'exister». P., 1863.

П. Леру и Жорж Санд, он вместе с тем находил в этом журнале «плоскость пониманья истин независимо от современных интересов». «Философски-политические статьи» в этом издании, добавлял Герцен, «просто смешны»: «фр<анцу>зы двумя веками отстали в спекуляции * от немцев,— повторяет он свою излюбленную мысль,— так, как немцы пятью от французов в приложении идеи права к действительности» (II, 224).

Циклы статей 1840-х годов — «Дилетантизм в науке», «Письма об изучении природы», «Капризы и раздумье» и примыкающая к ним статья «Об историческом развитии чести» — свидетельствуют об эрудиции Герцена в вопросах, связанных с Францией, с ее наукой, философией, культурой и общественной мыслью.

Характеризуя исключительно важную роль, сыгранную в развитии французской материалистической философии Вольтером, Герцен особенно подчеркивает (в «Письмах об изучении природы») высоко ценимые им особенности французского национального гения: способность каждый частный вопрос превращать в общечеловеческий; вечные требования *нового*; отсутствие «всякой узды»; «пламенно-энергический» характер, быстрое соображение, дар «блестящего, увлекательного изложения» (III, 308—311).

«Труды англичан,— отмечает Герцен,— совершенно затмились изложением французов. Франция воспользовалась всем, засеянным в Англии: Англия имела Бэкона, Ньютона — Франция рассказала всему миру их мысли**; Англия предложила робкий материализм Локка — во Франции он развился в дерзость Ольбаха <Гольбаха> с товарищами; Англия века жила высокой юридической жизнью — француз *** написал „De l'esprit de lois...“» (III, 311).

В цикле «Капризы и раздумье» Герцен подвергает анализу «психологический быт» в сфере личных отношений. Проблема эта занимала его давно, и постановка ее была тесно связана с французскими социальными теориями и французской литературой, в частности с проблематикой социальных романов Жорж Санд. Поиски новых форм личных отношений занимали важное место еще в учении сен-симонистов. Вопрос об эмансипации женщины был поставлен ими в известном манифесте 1830 г. В 1840-х годах этот вопрос приобрел еще более острый характер. Противопоставляя рутине буржуазных нравов «новых людей» и новые формы жизни, передовые французские писатели, а затем их эпигоны во Франции и за ее пределами возбуждали ожесточенную полемику в прессе и в обществе.

Непосредственным поводом для первой статьи этого цикла — «По поводу одной драмы», давшей возможность Герцену во всю широту поставить вопрос о взаимоотношениях личного и общественного и в то же время отразить и осмыслить свою собственную, во многом осложнившуюся семейную жизнь, явилась второразрядная французская драма О. Арну и Л. Фурнье «Huit ans de plus». Эту пьесу Герцен в 1842 г., после прочтения ему переводчиком, видел на сцене московского Малого театра с участием М. С. Щепкина. Подробный анализ пьесы мы находим в дневнике Герцена (см. II, 227—228).

Так же лаконично сформулированы и два основных тезиса будущей статьи Герцена: «Брак, когда от него отлетит дух,— позорнейшая и нелепейшая цепь» и «...человек не должен себя погружать в одно индивидуальное чувство. У него якорь спасения в идее, в мире общих интересов» (II, 228).

Вторая статья цикла «Капризы и раздумье», озаглавленная «По разным поводам», также посвящена анализу семейных и личных отношений в современном обществе. Приписывая свои афористические суждения вымышленному персонажу, много разъезжавшему в качестве туриста по Европе, Герцен демонстрирует большую осведомленность во французских делах, как бы предвосхищая аналогичные оценки, которые возникнут под его пером несколько позднее, когда он познакомится «в натуре» с Францией Луи Филиппа.

Статья «Несколько замечаний об историческом развитии чести» (1846) имеет эпиграф из «Персидских писем» Монтескьё. Это не случайность, поскольку отправным пунктом для многих положений статьи явились сочинения Монтескьё, в особенности его главный труд «L'esprit des lois», который Герцен, вероятно, изучал еще в юности (см. XXI, 20—21) ³³.

* * *

В официальных прошениях Герцена о выдаче ему заграничного паспорта (1846) ни Франция, ни Париж не упоминались: для русских властей эти географические названия звучали еще кра-

* Здесь: умозрении (от фр. *spéculation*).

** Намек на популяризацию этих учений во Франции Вольтером.— Л. Л.

*** Имеется в виду Монтескьё.— Л. Л.

мольно, хотя июльская монархия, вступившая к тому времени в семнадцатый год своего существования, давно порвала со своим «баррикадным» прошлым и могла считаться вполне «благонамеренной» *.

По дороге в Париж, куда Герцен торопился «так болезненно страстно» (XI, 445), он пересек несколько германских государств, а затем Бельгию, представлявшую собой как бы преддверие Франции. Кратковременное пребывание в Брюсселе, не без оснований именовавшем себя «маленьким Парижем», и в других бельгийских городах было приятно и интересно, но Герцен на все смотрел, по его словам, полурассеянно и мимоходом, торопясь поскорее добраться до «города городов» (X, 16).

Герцен въехал в Париж «с трепетом сердца, с робостью, как некогда въезжали в Иерусалим, в Рим» (V, 141) **. Его заветная мечта осуществилась: он здесь, на родине революции, в центре европейского общественного движения, в конституционном государстве, без привычного кляпа во рту, с чувством полной раскованности, с предвкушением новых впечатлений и разносторонней деятельности ***.

За огромными окнами гостиницы знакомо возвышается Вандомская колонна, увенчанная статуей Наполеона ³⁷. Совсем рядом, справа и слева, легендарные улицы, площади, бульвары, с названиями которых Герцен сроднился еще в юные годы; здания, освященные великими и дорогими именами Мирабо, Дантона, Руссо, Вольтера, Дидро... В этом городе, под этим небом, живут и дышат такие деятели современной культуры, как Жорж Санд, Гюго, Бальзак, Беранже, Гейне, Прудон, Мишле, Шопен, Рашель, Мицкевич, Домье... «Так это правда, это действительность — я в Париже — в Париже! и вся кровь бросилась мне в голову!» — вспоминал Герцен (XIX, 307; X, 16; см. XI, 491).

«Мы привыкли с словом „Париж“, — писал он вскоре, — сопрягать воспоминания великих событий, великих масс, великих людей 1789 и 1793 года; воспоминания колоссальной борьбы за мысль, за права, за человеческое достоинство <...> Имя Парижа тесно соединено со всеми лучшими упованиями современного человека...» (V, 141).

Это был Париж, мало изменившийся — внешне — с эпохи Великой революции, Париж «с поднятым дульсом», внушавший, по словам Герцена, «горячую любовь и жгучую ненависть, уважение без границ и отвержение без пределов» (X, 325).

Приподнятое настроение и туристское благодушие первых недель пребывания в Париже несколько скрадывало симптомы тяжелого кризиса, в котором находились тогда Франция и ее столица. Пауперизация масс, все возрастающая дороговизна, случаи голодной смерти на улицах (о чем то и дело сообщалось и в газетах) не остались, конечно, незамеченными Герценом. Однако «пестрые декорации» еще скрывали от него полную правду и он не сразу уловил социальную обусловленность экономического неблагополучия, так же как истинные размеры бедствий, обрушившихся на трудовое население страны ****.

К тому же французы и Париж оставались верными себе и своей репутации. «В Париже танцуют, поют, смеются всюду и несмотря ни на что, — отмечалось тогда в одной из газет. — Хлеб дорог — а танцуют; наводнение разобьет провинции — а танцуют в пользу потерпевших; танцуют наверху, внизу, в пользу всех несчастных, в пользу всех изгнанников. Французский характер во все времена все устраивал подобным образом» ³⁸.

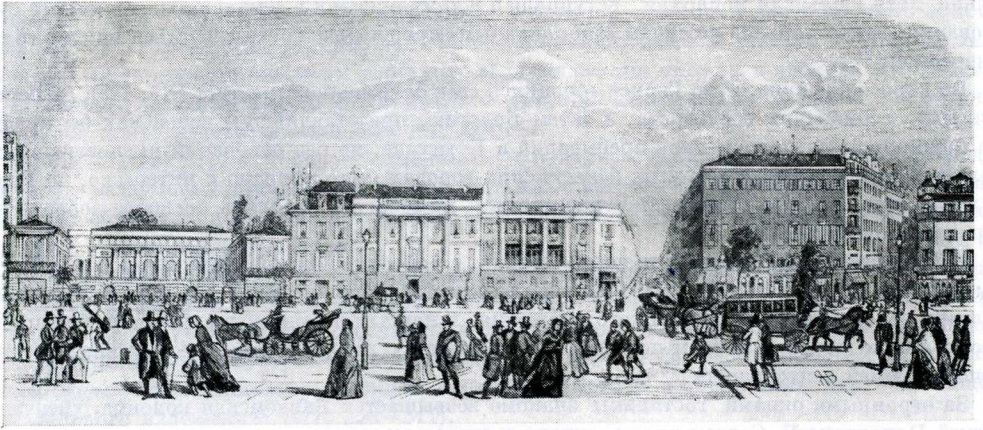
Как и другие иностранцы, впервые попадавшие в Париж, Герцен большую часть времени проводил в центре города, на Больших бульварах, Елисейских полях, «в толпе всякой всячины» (X, 81), среди праздношатающихся из привилегированных классов — так называемой «золотой молодежи» и художественной богемы — живых персонажей бальзаковских романов. Многие

* Русские пробирались тогда во Францию «всегда более или менее секретным, воровским образом, — вспоминал П. В. Анненков, — так как в наших паспортах заграничных того времени поименование Франции официально воспрещалось» ³¹.

** В «Былом и думах» Герцен признается, что слова «в Париже» едва ли значили для него меньше, чем «в Москве» (X, 16) ³⁵. «Для нас с самого детства Париж был нашим Иерусалимом, великим городом Революции, Парижем Jeu de raime, 89, 93 года», — писал он в конце жизни (XIX, 307) ³⁶.

*** «С какой завистью и болью слушал я, бывало, людей, приезжавших из Европы в тридцатых годах, — вспоминал Герцен, — точно будто у меня отняли все то, что они видели... а я не видал» (XVI, 160). «Итак, он в Рим, Париж, а я — все здесь и с цепью на ногах», — писал он в дневнике в связи с отъездом Огарева (II, 213).

**** Герцен вспоминал в «Былом и думах»: «Туристы наши скользили по лакированной поверхности французской жизни, не зная ее шероховатой стороны, и были в восторге от всего: от либеральных речей, от песней Беранже и карикатур Филиппона» (X, 322).



ПАРИЖ. БУЛЬВАР СЕНТ-МАДЛЕН

Гравюра неизвестного художника, 1845

Из книги: «Journées illustrées de la Révolution de 1848». Paris, <1849>

здесь вызывало обманчивую иллюзию всеобщего благополучия, благосостояния и благоденствия; редко кто без крайней необходимости сворачивал с чисто вымытых торцов богатых и ярко освещенных кварталов в темные и грязные ущелья густонаселенных «плебейских» улиц *.

Первое время он прилежно знакомился с достопримечательностями Парижа. У него был отличный чичероне, знаток французской культуры — П. В. Анненков, изучавший парижскую жизнь не только для удовлетворения интереса ко всему новому, но и ex-officio: он вел в «Современнике» под рубрикой «Парижские письма» ежемесячную хронику.

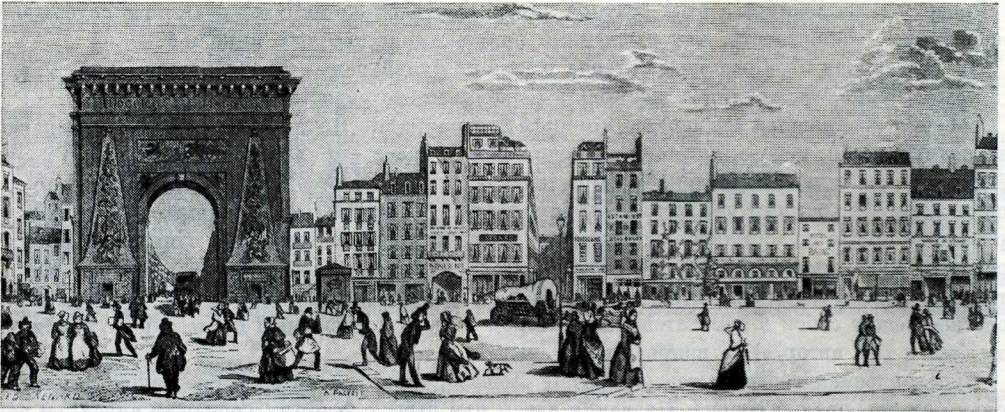
«Париж <...> Людовика Филиппа обаятельно действовал различными сторонами своей политической жизни на русских <...>», — писал в своих позднейших воспоминаниях Анненков. — «Они припадали к городу со страстью и увлечением путника, вышедшего из голой степи к давно ожидаемому источнику. Первое, что бросалось в глаза при этой встрече с столицей Франции, было, конечно, ее социальное движение <...> Не было возможности удержаться от участия к этому движению, которое слагалось из метких, остроумных статей журнального мира, из пропаганды на театре, из периодических лекций и конференций ** профессоров и непрофессоров <...> Движение дополнялось еще массой социальных книг, начавших известную войну против официальной политической экономии, и фамильными собраниями честных, начитанных и развитых работников, уже принявших к сведению новые положения социализма и обработывавших их по-своему <...> Все это были огоньки, которые предшествовали знаменитой революции 48 года, никем, впрочем, еще тогда не предчувствуемой...» ³⁹.

Одним из примечательнейших событий парижской культурной жизни весной 1847 г. была ежегодная художественная выставка в Луврском музее. На ней было экспонировано около пяти тысяч скульптур, картин и гравюр. По мнению большинства французских и зарубежных обозревателей, этот «салон» свидетельствовал о крайнем упадке французского искусства. Надо думать, что впечатлениями от этой выставки вызваны были строки Герцена (1848), характеризующие тлетворное влияние буржуазии на культуру: «Взгляните на их искусства — на эти истомленные, исковерканные сладострастием статуи, на выражение лиц, которое домогается схватить живописец». Другими приметами «смерти» буржуазного класса Герцен здесь же называет его литературу, газеты, «ученые общества», «гулянье, где пошлость, мескинность *** спорит с не-достоинством и безвкусицей», а также театр (V, 320).

* Богатый и пышный Париж в те времена не был так надежно отгорожен от нищего населения, как впоследствии: мрачные трущобы сплошь и рядом упирались в аристократические кварталы и величественные общественные здания. Так, собор Парижской богородицы был тогда тесно окружен убогими обиталищами парижского «дна», «страшная жизнь» (V, 46) которых была описана Э. Сю в «Парижских тайнах» — книге, которую Герцен хорошо знал (см. X, 379; XXII, 172).

** докладов (от франц. conférences).

* * мелочность (от франц. mesquin).



ПАРИЖ. БУЛЬВАР СЕН-ДЕНИ

Гравюра неизвестного художника, 1845

Из книги: «Journées illustrées de la Révolution de 1848». Paris, <1849>

Единственной картиной, привлекавшей к себе всеобщее внимание на выставке, было огромное полотно художника Т. Кутюра «Римляне времен упадка», изображавшее оргию в древнем Риме. «Лица осветились синевато-бледным цветом, как на римской оргии Кутюра». Эта строка из «Былого и дум» (X, 229; ср. XI, 643) свидетельствует о том, что Герцен побывал на выставке, где и видел сенсационную работу Кутюра.

23 марта в 69-летнем возрасте умерла знаменитая актриса Comédie Française мадемуазель Марс, о которой много рассказывал отец Герцена, живший в Париже сорока годами ранее и безмерно его любивший (см. VIII, 49). Смерть прославленной исполнительницы главных ролей классического и романтического репертуара вызвала огромный отзвук во Франции. Ее грандиозные похороны на следующий день после приезда Герцена предоставили жителям Парижа и туристам редкую возможность увидеть «в натуре» весь цвет литературного и театрального мира. В погребальном кортеже принимали участие В. Гюго, А. Дюма с сыном, Э. Скриб, Э. Сю, Ж. Жанен, виднейшие актеры Парижа — Рашель, Ф. Леметр, М. Буффе и др. На всем пути следования процессии плотными рядами стояли любопытные; балконы и окна были забиты людьми. Среди них был П. В. Анненков и, надо думать, Герцен.

Приезд Герцена совпал с почти полным обновлением репертуара парижских театров. «Сколько-нибудь значительных новостей нет, — заявил 25 марта, в день приезда Герцена, обозреватель распространяемого журнала «Illustration», — но летаргия эта вскоре окончится, и через несколько дней все театральные афиши будут обновлены».

Поразивший Герцена ажиотаж — длиннейшие «хвосты» у театральных касс и битком набитые залы — объяснялся не только неиссякаемым интересом парижан к театральным зрелищам вообще, но и тем, что это была полоса премьер после довольно продолжительного «поста».

В Париже тогда было около двадцати пяти постоянно действующих театров. Это поражало воображение русских путешественников: ведь в Петербурге функционировало только три театра, а в Москве — два! Вскоре, однако, Герцену пришлось убедиться, что это изобилие зрелищ не всегда свидетельствовало об их значительности и даже об истинном разнообразии.

Театральная жизнь столицы во всех подробностях освещалась парижской прессой. Сообщения о предстоящих премьерах, рецензии с изложением содержания пьес и характеристикой игры актеров печатались во многих периодических изданиях, и осведомленность Герцена была бы достаточно велика, даже если бы он и не посещал спектакли, а только просматривал рецензии. Но будущий автор «Писем из avenue Marigny» в первое время почти каждый вечер проводил вместе с Анненковым в театральных залах. Сценические представления интересовали его не только с эстетической точки зрения, но и как реальная возможность изучения Франции и ее народа.

Особый интерес вызывали у него так называемые театры на бульварах — Palais Royal, Variété, Vaudeville, Porte St.-Martin.

Репертуар большинства этих театров лишен был сколько-нибудь серьезного содержания. Преобладали скабрзность, двусмысленные намеки, нравственный цинизм *.

Блистательная игра ведущих актеров театра на бульварах — П. Левассора, П. А. Равеля, М. Буффе, Верне, Э. Арналя — доставила Герцену много радостных ощущений.

Особенно восхищался он первым комиком театра Palais Royal Левассором, обладавшим невероятным даром перевоплощения и смешившим Герцена «до слез, до истерики», «до колик». В Левассоре он находил «полнейшее выражение французской веселости, беззаботности, простодушной дерзости, острого ума, шалости, *gaminerie*» **, квинтэссенцию парижского склада ума и революционного духа, живое воплощение антибуржуазных тенденций передовой прессы и передовых художников *** (V, 54—55; XXIII, 20; XXV, 268). Веселые шутки Левассора, поток его каламбуров, вероятно, вызывали у Герцена мысль о некотором «избирательном сродстве» между собой и замечательным актером — ведь неутомимым и блестящим каламбуристом был и сам автор «Кто виноват?» ⁴⁰.

Прославленная трагистка театра Variété Дежазе, несмотря на свой блестящий талант, несколько разочаровала Герцена. Названия пьесы или пьес, в которых Герцен ее видел, он нигде не указывает, упоминая только, что пятидесятилетняя актриса «все является в мужских ролях» (XXIII, 23). В это время Дежазе особенно часто играла в водевиле Ж. Ф. А. Бейара и П. Вермона «*Enfant d'amour*», и поэтому вполне вероятно, что Герцен видел ее именно в этой пьесе (в роли юного маркиза Сен-Жака). Он мог видеть Дежазе и в комедии Ж. Габриэля и Депеньи «*Moulin à paroles*».

Через много лет, в «Былом и думах», он отнесет Дежазе к высшим представительницам того исчезнувшего типа французских женщин, к которому принадлежали гризетки Беранже; в них сильны были, по мнению Герцена, духовный элемент, своеобразная гуманность, лично выработанные понятия о чести, бескорыстие, веселость, общительность. Дежазе охарактеризована там как «живая песня Беранже, притча Вольтера» (XI, 460). «Франция реставрации, Франция Беранже, последняя веселая Франция имела своим живым, веселым, гениальным представителем — Дежазе», — писал позднее Герцен (XVII, 269).

К этим женским образам «беранжеровского Парижа» относится и «живой цветок» — очаровательная гризетка Леонтина из «Былого и дум», «подвижная, умная, избалованная, искрящаяся, вольная и, в случае надобности, гордая» (XI, 452). Модификацией этого образа можно считать и жену В. П. Боткина, гризетку Арманс — «живое, милое дитя Парижа, совершенно уродившееся в отца». «От ее языка до манер и известной самостоятельности, отваги — все в ней принадлежало благородному плебейству великого города», — писал Герцен в «Былом и думах». — Она еще была работница, а не мещанка (< . . >). Беззаботная веселость, развязность, свобода, шалость и середь всего этого чутье самосохранения, опасности и чести» (IX, 256).

Автор «Былого и дум» не раз будет отмечать и позднее, что этот исполненный изящества и обаяния тип молодых парижанок совершенно исчез в бонапартистской Франции, уступив место отталкивающему «продукту» новой, буржуазной эпохи и буржуазного потребительства — содержанке с грубыми вкусами и низменными запросами.

Герцен давно уже мечтал увидеть Рашель — величайшую трагическую актрису современности, прославившую себя и театр Comédie Française блестящим исполнением ролей классического репертуара.

Первый спектакль, увиденный Герценом в главной цитадели французского классицизма, где еще жили традиции великого Тальма, была трагедия Расина на библейский сюжет — «Гофолия». Его потрясла не только игра Рашели, но и сама трагедия и ее автор, которого он вдруг «научился понимать». В Расине Герцен, к своему удивлению, обнаружил изумительного по силе и мастерству поэта-гуманиста, глубокого знатока сценических законов. Только теперь он оценил его проникновенный психологизм, прелесть благозвучного стиха, так же как «стройную,

* «Есть нечто грустное и оскорбительное в зрелище двадцати зал, в которых набились битком люди с шести часов вечера, для того чтобы до двенадцати восхищаться глупыми пьесами, салными фарсами, и это всякий вечер. Пристрастие к двусмысленностям и непристойностям испортило великие сценические дарования: художники, увлекаемые громом рукоплесканий (на которые здесь очень скупы), так избаловались, что они каждому слову, каждому движению умеют придать нечто... нечто кантаридное», — отмечал Герцен (V, 38).

** мальчишества (франц.).

*** «Страсть к шутке, к веселости, к каламбуру составляет один из существенных и прекрасных элементов французского характера», — отмечал Герцен (V, 37).

спокойно развивающуюся речь» расиновских героев. Это заставило Герцена пересмотреть свой прежний взгляд на классицизм. Ему стало ясно, почему именно на Расине воспитывались революционеры XVIII в. — Робеспьер и его соратники. Грация движений, античное изящество, умение дать какую-то осязательную выпуклость роли приятно поразили Герцена в актерах первого театра Франции. Но подлинный вес представлению давала, разумеется, «потрясающая сердце» и вызывающая «слезы участия» легендарная Рашель. Ее «резкие, выразительные, проникнутые страстью» черты в сочетании с удивительной игрой и голосом, который «походил на воркованье горлицы и на крик уязвленной львицы» (V, 51—55), производили исключительное впечатление*.

В «Гофодии» Рашель создала впечатляющий образ «необузданной, восточной царицы», «страстной кошки, по которой пробегает какая-то дрожь от властолюбия и от сознания своей силы».

Как только на сцене появляется Рашель, отмечает Герцен, «все актеры исчезли, лицо у нее горит страстью, ее губы трепещут, а взгляд не позволяет вам дышать, и сколько в этом взгляде презрения, гордости... и нежности любви; сколько мужских, грубых нот в этом голосе — и сколько девственных, свято-мягких» (XXIII, 22).

Это, пожалуй, один из выразительнейших словесных портретов гениальной исполнительницы Расина.

К своим наиболее ярким театральным впечатлениям Герцен относил и спектакли с участием выдающегося актера Ф. Леметра в театре *Porte St.-Martin* — главной «опорной базе» романтической драмы.

В первое время своей парижской жизни Герцен мог видеть Леметра только в двух пьесах — «Рюи-Блазе» Гюго и «Доне Сезаре де Базане» Ф. Ф. Дюмануара и А. Ф. Деннери. Несмотря на виртуозную игру Леметра, Герцен от этих спектаклей в восторг не пришел. Самый жанр романтической драмы уже казался ему в это время чем-то безнадежно устаревшим. Выше ведущих драматургов-романтиков того времени — В. Гюго и Ф. Сулье** — Герцен ставил даже презираемого им Э. Скриба, у которого был хоть примитивный, но реализм (V, 404).

Заметным событием сезона 1847 г. и в то же время «величайшим торжеством» Леметра явилась премьера социальной мелодрамы «*Le chiffonnier de Paris*», автором которой был известный писатель-республиканец Ф. Пиа, впоследствии добрый знакомый Герцена, вынесший на сцену «мир голода и нищеты <...>, мир подвалов и чердаков» (V, 42—43). Эта пьеса, проникнутая духом социального протеста, особенно резко выделялась на фоне безыдейного репертуара театров на бульварах (и самого театра *Porte St.-Martin*) и была почти таким же предвестником революции 1848 г., как «Женитьба Фигаро», — революции 1789 г. Леметр создал «беспощадный», по выражению Герцена, образ главного героя пьесы — тряпичника, вырывающего «из груди какой-то стон, какой-то упрек, похожий на угрызение совести» (V, 42). Этот персонаж казался современникам типичнейшим воплощением «парижского пролетария».

В произведениях и письмах Герцена не раз встречаются упоминания об одном из самых блестящих сценических образов, созданных Леметром, — Робере Макэре, диничном и преуспевающем пройдохе, красноречивом символе буржуазного предпринимательства периода Июльской монархии. Герцену, конечно, известны были и бесцельные карикатуры в журналах, изображавшие Робера Макэра, а также объемистый альбом литографий О. Домье «*Cent et un Robert Masure*» с предисловием и едкими подписями издателя «*Charivari*» Ш. Филиппона, вышедший двумя изданиями в начале 1840-х годов. Герцен относил Робера Макэра к «великим карикатурам», «иногда гениально верным» (XVI, 136; ср. XII, 338).

* Внешность Рашели вызвала у Герцена мысль о своеобразии «французской красоты», состоящей, по его мнению, «в необыкновенно грациозном сочетании выразительности, легкости, ума, чувства, жизни, раскрытости...». Красота эта «чрезвычайно человечественна, социальна <...> Она не в одной наружности, не в одной внутренней жизни, а в их созвучном примирении. Такая красота, — пишет Герцен, — результат жизни — жизни целых поколений, длинного ряда влияний органических, психических и социальных; такая красота воспитывается веками, вырабатывается преемственным устройством быта, нравов, достается в наследие, развивается средоу, внутренней работой, деятельностью мозга, — такая красота факт цивилизации и народного характера» (V, 53).

** Из пьес Сулье в это время в Париже шла только драма «*La closerie de genêts*» в театре *Ambigu comique*, имевшая тогда колоссальный успех; следовательно, именно ее и видел Герцен.

В своем известном письме из Парижа, адресованном М. С. Щепкину, Герцен с горечью констатировал, что большинство парижских театров, приспособившихся к низменным вкусам «материальной силы, силы сегодняшнего дня» — богатой буржуазии («мещанства», по терминологии Герцена), — довело себя до позорного падения (XXIII, 19—23). Эту же мысль он развивает и в «Письмах из avenue Marigny», саркастически характеризую творчество плодовитого, талантливое, но сервильного драматурга Э. Скриба, «хитрого царедворца» буржуазии, поставившего себя на службу низменным вкусам правящего класса. Этот «царедворец, ласкатель, проповедник, гаер, учитель, шут и поэт буржуазии» (V, 34) не только превозносил буржуа: для его убогостроения он унижал все, что противостояло ему или находилось от него в зависимости. Нет сомнения в том, что с произведениями Скриба Герцен был хорошо знаком еще в России по театральным постановкам и рецензиям и некоторые из его пьес читал *. Отзывы о Скрибе в «Письмах из avenue Marigny» имеют характер реминисценций, так как в то время, когда Герцен находился в Париже, ставились лишь единичные и малохарактерные пьесы Скриба — совсем не те, которые дали автору «Писем» материал для конкретных замечаний и обобщений ⁴¹.

В отличие от других театров на бульварах театр Porte St.-Martin посещался и демократической публикой («Chiffonnier de Paris», например, видел буквально весь Париж, в том числе и рабочий люд). Однако для беднейшей части населения обычно устраивались другие, подлинно общедоступные зрелища. Герцен, постоянно испытывавший желание поближе познакомиться и как бы слиться с «парижским народом», о котором он еще в России, по литературным источникам, составил себе чрезвычайно высокое представление, не упускал возможности побывать и на народных представлениях.

С февраля 1847 г. несколько месяцев подряд в Cirque Olympique ставилась грандиозная историческая драма-феерия Ф. Лабрусса и Ж. Маллиана «La Révolution française», воспроизводившая в костюмах эпохи, при грохоте пушек и ржании коней, наиболее эффектные эпизоды Великой французской революции. Конечно, все это было примитивно и грубо сколочено и Герцена удовлетворить не могло, но постановка вызвала самую восторженную реакцию у «людей из народа»; впечатляющие сцены героического прошлого отцов и дедов по-настоящему их волновали, и Герцен, вероятно, смотрел в зрительный зал не меньше, чем на арену **.

Посещал он и маленькие балы (куда ходили «простые люди» — ремесленники, прачки, служанки), с удовольствием наблюдая за народными развлечениями, которые резко отличались, по его мнению, своим нравственным здоровьем от цинизма буржуазных увеселений. Гуманность, сознание собственного достоинства парижского «простого народа» — «детей и внучат» участников Великой французской революции — больше всего поражали Герцена, так же как «парижский воздух», поддерживавший в пролетариате революционные унастроения (V, 31—32, 46).

Письмо третье «Писем из avenue Marigny» целиком посвящено французскому театру; оно завершается упоминанием о «модной комедии» и «бенефисе Жирандена», на котором Герцен, по его словам, «в половине июня» сидел несколько дней на трибуне с десяти часов утра до половины седьмого вечера (V, 55).

Герцен имел в виду не бенефис какого-то актера, а судебный процесс известного политического дельца и журналиста, издателя газеты «Presse», члена палаты депутатов Э. Жирандена, который внезапно выступил в своей газете с сенсационными разоблачениями министров и ряда высокопоставленных лиц, обвиняя их в коррупции и должностных преступлениях. За это Жиранден был предан суду палаты пэров. «Ловкий, злой» удар, нанесенный Жиранденом, превратил «развращающее министерство», по словам Герцена, в «позорный столб» (V, 309). «...Дело

* «Замечательно, что французские писатели, начиная с первоклассных и до поставщиков повестей, — писал Ю. Ф. Самарин в «Москвитянине» 1847 г., — облачают общество <...> но почти всегда щадят простой народ и заступаются за него <...> Они полагают, что творческое начало в народе, что жизнь общественная обновляется приливом сил, в нем заключенных <...> Поэтому очень понятно, что люди прогресса указывают на высокие качества народа, может быть, преувеличивают их. Ко всему этому присоединяется естественное чувство справедливости; народ всегда и везде менее виновен, чем другие сословия, и всегда долее и тяжелее других искупает каждую вину, свою и чужую» (№ 2, с. 201).

** «Театр полон ремесленниками, работниками в блузах, женщины бывают там даже с грудными детьми, говорят, хохочут, кричат, тут берет за живое — и тут хорошо», — писала в Москву жена Герцена, бывшая вместе с ним на представлении (XXIII, 24). Сам Герцен находил, что этот гала-спектакль, а также бесконечно длинная инсценировка романа А. Дюма «Королева Марго» в Историческом театре (основанном в том же 1847 г. самим Дюма) — несравненно лучше для «бедняка», «нежели 1001 водевиль» в театрах на бульварах (XXIII, 24).



РОБЕР МАКЭР (справа) И ЕГО СООБЩИК БЕРТРАН
Литография О. Домье (из серии «Робер Макэр»)

Из книги: Н. Domier. Les cent et un Robert Macaire. Paris, 1839

Герцен высоко ценил эту серию карикатур Домье, центральный персонаж которой — циничный пройдоха Робер Макэр, символизировал буржуазное предпринимательство эпохи Луи Филиппа

Теста⁴² и Алкивиада буржуази Э. Жирандена развлекает, — сообщал он московским друзьям, — я после этих представлений перестал ходить в театр» (XXIII, 31).

Характеризуя безнравственное царствование Луи Филиппа, Герцен делает многозначительный вывод: «Семнадцатилетняя проповедь самого грубого эгоизма и самого нечистого поклонения материальным выгодам и спокойствию не могла образовать особенно преданных и самоотверженных защитников июльскому трону...» (V, 143).

Процесс Жирандена послужил толчком для новых, еще более сокрушительных разоблачений правительственной клики. Герцен, собиравшийся дать русским читателям в письме четвертом «Писем из avenue Maigny» отчет о судебном разбирательстве, вскоре отказался от этого намерения: на фоне новых ужасающих фактов, всплывавших на поверхность чуть ли не ежедневно, дело Жирандена выглядело уже недостаточно масштабным.

С самого начала своей парижской жизни Герцен каждое утро жадно набрасывался на свежие газеты «всех величин, всех цветов» и просматривал их «десяток» (V, 56—57, 232), хотя для французской периодической печати весна 1847 г. была довольно глухим временем: ни в международной жизни, ни внутри страны сенсаций тогда не было. Особенно пресными казались Герцену официальные орлеанистские газеты во главе с «Journal des Débats», которую он за лживость и мелочность называл парижской «Северной пчелой» (XXIII, 31). Оппозиционная печать представляла для Герцена гораздо больший интерес. В «Réforme», например, то и дело сообщалось о тяжелом экономическом положении Франции, о голоде, рабочих стачках и их жестоком усмирении. В памяти Герцена могло надолго запечатлеться сообщение о судебном процессе молодого

типографского рабочего, потребовавшего от Дж. Ротшильда крупную денежную сумму. Свой анонимный ультиматум, предъявленный банкиру-миллионеру, рабочий закончил красноречивым предостережением: «Готовится страшная гроза... Вы знаете, что самые высокие деревья обладают зловещней привилегией притягивать к себе молнию. Наш совет может отвести ее от вашей головы. Поразмыслите...»⁴³ Разве нельзя допустить, что это упоминание о готовящейся «грозе» не отразилось потом в символических названиях двух выдающихся герценовских статей 1848 г. (из цикла «С того берега») — «Перед грозой» и «После грозы», а также в главке «Былого и дум» — «В грозу»?

Герцен особенно любил и постоянно читал ежедневную сатирическую газетку «Charivari». Она издавалась в Париже с 1830 г. и сыграла огромную революционизирующую роль в годы Июльской монархии. Это издание, надо думать, не прошло бесследно для дальнейшей деятельности Герцена. Не только формат и шрифт газеты, но и сама «подача» материала во многом напоминают будущей «Колокол». Создавая в 1857 г. свой боевой орган, Герцен, вероятно, использовал опыт своей любимой французской газеты *.

В каждом номере «Charivari» 1847 г. Герцен находил дерзкие и проникнутые жгучей иронией нападки на правительство Луи Филиппа, на крупную буржуазию и на всю социальную систему, господствующую во Франции. Герцен охарактеризовал «Charivari» как «Ван-Дика и Рембрандта мещанства», т. е. буржуазии, как ее «портретную галерею», «лобное место» и «позорный столб» (XVI, 136). В этом воинственном органе постоянно печатались под рубрикой «Carillon» («Колокольный звон») едкие обличительные заметки, которые могли послужить своего рода образцом для герценовской «Смеси» в «Колоколе». Да и само название «Колокол», возможно, возникло как реминисценция «Колокольного звона» «Charivari».

Вот для примера несколько взятых почти наугад заметок из «Carillon», которые, как и многие другие, органично вошли бы в «Смесь» «Колокола»:

«Газеты объявляют о большом числе арестов, произведенных в Париже в течение последних дней и по неизвестным мотивам. Но разве есть надобность в мотивах для ареста граждан при нашем режиме свободы?»⁴⁴

«Вам известно, что г. Дюшатель недавно испытал небольшое недомогание; он жалуется на неудобства, вызванные его жировыми отложениями. Увы! Это тот вид недомогания, с которым народ в нынешние времена почти незнаком»⁴⁵.

«Одна газета утверждает, что может доказать, будто обещание кресла в палате пэров продано было за 80 000 франков. Это в четыре тысячи раз дороже его настоящей стоимости»⁴⁶.

«Вчера на трибуне Бурбонского дворца мы были свидетелями повторения валаамова чуда: Ланн заговорил!»^{**47}.

Антибуржуазная направленность «Charivari» особенно рельефно проявлялась в иллюстрациях Домье, Гаварни и других прогрессивных художников (в каждом номере печаталось по большой карикатуре на целую полосу). Вот один из характерных примеров: в № 88 газеты от 29 марта (через четыре дня после приезда Герцена в Париж) была воспроизведена очередная карикатура Гаварни с изображением самодовольного, откровенного буржуа, который, проходя мимо изурнованного нищего, изрекает (подпись под рисунком): «Он, видите ли, голоден... Лень одолела... Я сам голоден, но все же беру на себя труд идти домой обедать».

Летом 1847 г. Герцен соприкоснулся с французской провинциальной жизнью, пробыв две недели в Гавре. Там, на живописном берегу Ла-Манша, им завершена была работа над первой редакцией повести «Долг прежде всего». Среди персонажей ее несколько французов. Действие одной из глав происходит в конце XVIII в., и Герцен мастерски воссоздает атмосферу предреволюционного Парижа и затем взятие Бастилии 14 июля 1789 г. Описание этого исторического дня во многом превосходит те приемы, при помощи которых он через год запечатлел июньское рабочее восстание в статье «После грозы» (VI, 40—43, 388).

«Воровство, продажа нарства и крестов, подкупи министров, убийства в герцогских комнатах, крапленые карты в Тюльери, кража лесов королем, министр юстиции, пойманный в публичном доме, сын короля (Монпансье), выброшенный из дому почтенным генералом за непри-

* «6 № „Коло(кола)“ — хорош, но, по-моему, немного сбивается на „Charivari“, — писал Герцену 7 января 1858 г. И. С. Тургенев — и не без осуждения, так как к тому времени «Charivari» уже растеряла многие краски, а революционный темперамент ее почти сошел на нет.

** Намек на евангельскую притчу о внезапно заговорившей Валаамовой ослице. Фамилия депутата Ланна звучит по-французски точно так же, как осёл (l'âne).

личное поведение, — вот чем были полны журналы и разговоры». Так в сжатом виде охарактеризовал Герцен политические сенсации лета 1847 г. (V, 144).

Этот год *, как отмечал Герцен, был «очень важен в обнаружении <...> внутреннего состояния Франции, ни в какое время не падавшей так глубоко в нравственном отношении» (V, 57).

Познакомившись с истинным положением дел, он испытывает «тяжелое, болезненное чувство» — удивление, огорчение, испуг (V, 141). Сомнений нет, пора навсегда расстаться с наивными иллюзиями! Герцена окружал не идеальный Париж простодушных и бескорыстных героев Беранже, а Париж, населенный персонажами Домье, Гаварни и Сю, беспощадно верно охарактеризованный в «Ямбах» Барбье:

Париж, что некогда, как светлый купол храма
Всемирного, блистал,
Стал ныне скопищем нечистоты и срама,
Помойной ямой стал,
Вертепом подлых душ, мест ищущих в лакеи,
Паркетных шаркунов,
Просящих нищенски для рабской их ливреи
Мишурных галунов,
Бродяг, которые рвут Францию на части
И сквозь щелчки, толчки,
Визжа, зубами рвут издохшей тронной власти
Кровавые клочки. . .**

Наступила пора «зловещего раздумия и патологического разбора». Чем больше вглядывался Герцен в симптомы упадка Франции, тем несомненной становилось для него, что мелкими реформами и изменениями ее не спасешь, что ее может воскресить только «коренной экономический переворот — 93 год социализма» (V, 9).

К осени Герцену стало «невыносимо тяжело». Париж представлял собой «край нравственного растления, душевной усталости, пустоты, мелкости» и напоминал остывший кратер, превратившийся в грязь и слякоть. Герцену известно было, что существует другой, подлинно демократический Париж, Париж честных тружеников, радикальных кружков, подпольной борьбы, «мучеников идеи и мучеников жизни», но связей с этим Парижем у него не было. Не поддерживал он сношений и с французским литературным миром. «Причин на это было много, — объяснял Герцен, — прямого случая не представлялось — искать я не хотел. Ходить, только чтоб смотреть знаменитости, я считал неприличным. К тому же мне очень мало нравился тон снисходительного превосходства французов с русскими <...> Чтобы стать с ними на другую ногу, надобно импонировать; на это необходимы разные права, которых у меня тогда не было и которыми я тотчас воспользовался, когда они случились под рукой» (V, 68; X, 36, 191; ср. XXIII, 90).

Покидая столицу Франции в середине октября 1847 г., Герцен почувствовал, что ему становится страшно: «Париж — центр, выезжая из него, выезжаешь из современности» — так объяснял он это ощущение. С любовью всматривается он напоследок в «капризную, разнообразную архитектуру парижских построек», в удивительную панораму обоих берегов Сены, в собор Парижской богородицы, Тюильри, Лувр, остров Сите (V, 68—69).

В Лионе Герцен осматривает зловещие бастионы с пушками, направленными на рабочие кварталы и способными уничтожить десятки тысяч человек одновременно. С ужасом и отвращением выслушивает он подробности кровавого подавления восстания 1831 г.; ему становится ясно, что приказ о массовом убийстве рабочих был тогда отдан правительством Луи Филиппа только для того, чтоб успокоить буржуазию, опасавшуюся утратить свои имущественные привилегии, и чтобы скрепить связь между новым порядком и ею (V, 71). Герцен не предвидел, что меньше чем через год, в Июньские дни, буржуазные политики совершат подобное же злодеяние в самой столице — и в неизмеримо большем масштабе.

* Точнее было бы сказать: середина и вторая половина года. — Л. Л.

** Перевод В. Г. Бенедиктова.

* * *

О революции во Франции — громовом ударе 24 февраля 1848 г. — Герцену стало известно только 3 марта.

Хотя в «Письмах из Франции и Италии» он утверждает, что с «восторгом летел» из Рима в революционный Париж (V, 133), он еще целых два месяца оставался в страстно любимой им Италии, переживавшей в это время праздник революционного пробуждения.

За полгода его отсутствия политический климат французской столицы заметно изменился. В воздухе ее носилось что-то резкое и возбужденное, напоминающее 1790-е годы. Рабочие митинги в Тюильрийском саду, политические афиши, прокламации — все это волновало и радовало. Это был закат, принимавшийся Герценом за «восхождение новой жизни» (V, 134; XXIV, 288).

Накануне приезда Герцена, 4 мая, открылось Учредительное собрание, избранное по введенному Временным правительством всеобщему голосованию. Эта «арифметическая» реформа, давшая, по мнению Герцена, голос орангутангам, предоставила большинство мест в парламенте богатым провинциальным буржуа. Их «ограниченные лица», «скудные глаза» собственников, «черты, искаженные любовью к барышу и к порядку», вызывали непреодолимое отвращение (V, 174, 373; XXIII, 111).

Одним из немногих реальных завоеваний Февральской революции была неограниченная свобода собраний и политических клубов. Время от времени Герцен посещал эти «маленькие парламенты», участвовал в политических банкетах. Выступления революционных ораторов дали ему возможность не только познакомиться со взглядами виднейших французских представителей революционной демократии, но и убедиться в несостоятельности их политических и экономических доктрин.

Он восхищался двумя «корифеями демократии» — «беззлобным и юным душою», «доверчивым, всегда готовым отдать за республику последнюю каплю крови» А. Барбесом и еще больше — «грозовым трибуном» О. Бланки, обладавшим «резким, страстным, проникающим в душу слушателей» даром слова, человеком колоссального интеллекта, нестигаемой воли, громадной энергии и «желчевой злобы» (V, 168—169, 367). Что касается идеолога утопического коммунизма Э. Кабе («отца Кабе»), то о его «мечтаниях» Герцен отзывался с иронией, не принимая всерьез «бесплодные» опыты создания новой «барщины» (V, 314; XI, 49—52; XX, 122, 578).

С Барбесом и Бланки у Герцена впоследствии были эпизодические, но крайне впечатляющие встречи (см. XI, 49—51).

Сенсационные выступления Рашели в Théâtre Français * с пением «Марсельезы» представляли собой не только художественное, но и заметное политическое событие этого времени. На одном из них Герцен присутствовал (вместе с И. С. Тургеневым и П. В. Анненковым **) ⁴⁸.

Несколько позднее Герцен отзывался на «Марсельезу» Рашели прекрасным «стихотворением в прозе», по-видимому обращенным к М. Ф. Корш и озаглавленным «Dedication» ***. Он охарактеризовал там великое создание Руже де Лилия в исполнении гениальной артистки как «погребальный звон среди ликований брака», как «гимн, зовущий на пир крови, мести», как «упрек, стон отчаяния среди надежды». В выступлении Рашели он видел грозное пророческое предвещание трагических событий ближайшего будущего — Июньских дней **** (VI, 40).

15 мая 1848 г. Герцен стал свидетелем грандиозной народной манифестации и безуспешной попытки парижской бедноты разогнать буржуазное Национальное собрание. Ему пришлось увидеть ряд репающих эпизодов отчаянной исторической схватки, описанных затем в «Письмах из Франции и Италии», и прийти к неоспоримому выводу, что революция окончательно погибла.

* Так называли тогда Comédie Française. — Л. Л.

** «Рашель <...> явилась перед публикой в образе древней статуи с белой туникой, но с трехцветным знаменем в руке, олицетворяя таким образом Францию, — писал П. В. Анненков о ее выступлениях. — Певучим речитативом и вполголоса при мертвой тишине партера произносила она стихи знаменитой песни, сообщая каждой строфе особенную интонацию, переходя от глубокого чувства грусти по родине к сосредоточенному негодованию на врагов и, наконец, к отчаянной решимости сопротивления <...> Благодаря этой декламации, продолжавшейся немного более одной четверти часа, зала Французского театра наполнялась народом сверху донизу и оглашалась неистовыми рукоплесканиями» ⁴⁹.

*** Слова dedication во французском языке нет. Герцен, по-видимому, хотел написать Dédicace («Посвящение»). Правда, dedication означает «посвящение» по-английски, однако трудно уловить логику английского названия для такой чисто французской темы.

**** Впоследствии в «Былом и думах» Герцен сделал весьма существенную переоценку «Марсельезы» Рашели, увидев в ее исполнении не столько проявление «живой боли», сколько лицедейство (X, 226).

Через пять недель, в июне, разразилось всеобщее рабочее восстание. По словам К. Маркса, это была великая, решающая битва за сохранение или уничтожение *буржуазного* строя⁵⁰.

На глазах у Герцена столица Франции покрывалась баррикадами. Под звуки набата, как бы навсегда прощаясь с Парижем, он залюбовался панорамой великого города, и в эту минуту испытывал к нему страстную любовь.

Ожесточенная четырехдневная борьба закончилась, как известно, полным поражением парижского пролетариата.

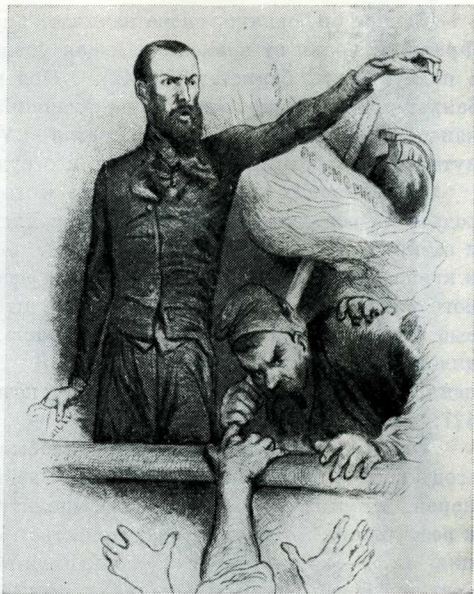
В статье «После грозы» — одной из вершин мировой революционной публицистики — Герцен описывает «предгрозовую» Париж, Париж «в грозу» и Париж «после грозы». Вначале он передает слуховое отражение исторической битвы — «выстрелы, топот несущейся кавалерии, тяжелый, густой звук лафетных колес по мертвым улицам (...), крики, барабанный бой» и затем «правильные залпы с небольшими расстановками» — массовые расстрелы участников восстания. Далее воссоздаются трагические картины «умиrotворенного» Парижа после четырехдневной бойни (VI, 40—48).

Через двадцать один год, в письмах «К старому товарищу», со все еще не утихшей болью Герцен вспомнит, как, «стоя возле трупов, возле ядрами разрушенных домов, слушая в лихорадке, как расстреливали пленных», он «всем сердцем и всем помышлением звал дикие силы на месть и разрушение старой, преступной веси»*. «Первый широкий, — по словам Герцена, — но неудачный опыт ввести социальные начала в государственный строй» закончился удручающим провалом. «Сплоченный в одну дружину мир консервативный» одержал победу. Франция не только остановилась на пороге социализма, но и надолго воротилась вспять — к ожесточенному консерватизму, беспросветной политической реакции, к порабощению трудовых масс (XX, 576, 586).

Герценовская концепция революции 1848 г., неоднократно излагавшаяся и варьирувавшаяся им в разных сочинениях и письмах, в основном может быть сведена к следующим положениям. Для социальной республики Франция еще не была готова; февральский переворот явился лишь гениальным вдохновением, импровизацией парижских рабочих. Буржуазные республиканцы, возглавившие революцию, были перепуганы социальным характером требований низов и тотчас же, из эгоистических побуждений, перешли на позиции ожесточенного консерватизма. Глубокая неудовлетворенность пролетариата, рассчитывавшего на коренные социальные перемены, делала неизбежной «свирепую» схватку его с буржуазией, намеренно обострявшей классовые противоречия, чтобы вызвать преждевременное восстание и обескровить своих извечных врагов. В Июньские дни, на баррикадах, пролетарии спохватились, что у них нет ни программы, ни «построяющей, органической мысли». Трагический исход революции был предрешен. Консервативные силы, ставившие своей целью усмирить, подавить «химеру социализма», пошли еще дальше: они усмирили всякое свободное движение, подавили «всякую независимость, всякое человеческое достоинство».

«Видя, как Франция смело ставит социальный вопрос, я предполагал, что она хоть отчасти разрешит его (...) Париж в один год отрезвил меня, зато этот год был 1848», — с горечью отмечал позднее Герцен, разъясняя причины своей мучительной духовной драмы и пессимизма, вызванного тем, что Франция «разошлась с революцией» (V, 212; XVIII, 278).

* «Я с тех пор воспитал в себе отвращение к крови, если она **лется** без решительной крайности», — отмечал Герцен в другом месте (XIV, 243).



АРМАН БАРБЕС НА ТРИБУНЕ

Гравюра по рисунку Т. Жоанно, 1848

Из книги: Louis Reybaud. *Gérôme Paturot à la recherche de la meilleure des républiques*. Paris, 1849

«Барбес пользуется огромным преимуществом людей, которых твердость и чистота выше всякого подозрения» («Письма из Франции и Италии»)

Вскоре он, однако, снова начинает проявлять интерес к общественно-политической жизни Франции, время от времени посещая уцелевшие от разгрома революционные клубы, участвуя в политических банкетах (X, 42)*. Под непосредственным впечатлением от одного из таких банкетов, на котором выступал виднейший деятель революции 1848 г., буржуазный республиканец Ледрю-Роллен, написана статья «LVII год республики единой и нераздельной», проникнутая безотрадными размышлениями о судьбах революции и ее участников (VI, 49—61).

В сочинениях и письмах Герцена этого и позднейшего времени немало характеристик руководителей революционной и псевдореволюционной Франции. Некоторые из них своим накалом и сатирическими красками напоминают позднейшие герценовские обличения царских сатрапов и крепостников в «Колоколе». Так, для ненавистного ему министра-соглашателя, сентиментального романтика А. Ламартина он находит десятки едких эпитетов и метафор: «сладкоглаголивый стихотворец и политический аферист», «Манилов французской революции», «политический дилетант», «пошлая личность» и пр. «Я <...> его ненавижу не как злодея, — с презрением посянял Герцен, — а как молочную кашу, которая вздумала представлять из себя жженку» (V, 146, 427; XXIII, 97 и др.).

Оглядываясь в конце 1849 г. на события минувших месяцев, Герцен осыпает проклятиями «год крови и безумия, год торжествующей пошлости, зверства, тупоумья»; клянет «революционеров, испугавшихся революции», «политических шалунов, паяцев свободы», которые «играли в республику, в террор, в правительство», «дурачились в клубах, болтали в Камерах...». «Франция <...>, — констатирует Герцен, имея в виду и ее интервенцию в пределы Италии, — погрязает в позоре и низости». Она, «как леди Макбет, не так-то скоро смоет кровавые пятна со своих братоубийственных рук» (VI, 107—109, 233).

13 июня 1849 г. Герцен принял участие в массовой демонстрации, организованной мелкобуржуазными республиканцами, и в «Былом и думах» описал это торжественное шествие многих тысяч и тысяч людей по Большим бульварам Парижа с пением «Марсельезы»⁵¹.

В «Былом и думах» мы находим саркастические характеристики французских профессиональных революционеров «второго порядка» («хористов», «пустоцветов», «решейников» и «мухоморов» революционного движения), для которых разного рода «банкеты, демонстрации, протестации, сборы, тосты, знамена — главное в революции» (X, 45—48). Вскоре — в Женеве и Лондоне — Герцену придется близко соприкоснуться с этого рода деятелями «заднего двора» революции и даже стать их бытописателем и прокурором.

13 июня 1849 г. во многом отличалось от Июньских дней 1848-го, когда «великий парижский народ», по словам Герцена, звал вождей буржуазной демократии «на площадь», рассчитывая, что они возглавят вооруженную борьбу, но демократия тогда «спряталась»; теперь же она «сошла на площадь», но народ с демократами не пошел**.

В конце 1849 г. П. Ж. Прудон начал издавать в Париже большую ежедневную общественно-политическую газету «Voix du Peuple», в которой сотрудничал Герцен.

Самая значительная из французских статей Герцена, относящихся к этому времени, — «Donoso Cortès...» (1850) появилась в «Voix du Peuple» в виде передовицы и заняла всю первую полосу газеты. Позднее ее перевел сам Герцен на русский язык, и она вошла в книгу «С того берега» (1855), причем, как всегда в своих авторских переводах, Герцен внес в текст значительные изменения, почти написал ее заново. Первоначальный, французский вариант, появившийся в «Voix du Peuple», имеет ряд неоспоримых преимуществ перед позднейшей русской редакцией — он энергичнее, нервнее, злее, в нем резче проявляется полемический задор. Десятки тысяч французских современников Герцена и виднейшие деятели международной демократии ознакомились с его злободневной статьей именно по этому тексту.

* Частое посещение Герценом политических банкетов подтверждается следующими строками «Писем из Франции и Италии»: «Впоследствии я много раз с горькой улыбкой смотрел на распорядителей демократических банкетов, как они помыкают гостями, кричат, распоряжаются и всё попустому» (V, 377. Курсив мой. — Л. Л.).

** Герцен делает при этом следующую ключевую оговорку: «Когда я говорю „народ“, я, разумеется, говорю об одном народе, который существует в Европе, — о французском народе. Насколько вся образованная часть Франции развращена, гнусна и не имеет никакого будущего, настолько велики пролетарий и даже крестьянин, — и это важнейшая победа после 1848». В то же время Герцен считает нужным подчеркнуть, что «народ вообще слишком хвалит», что это «революционный jargon: французский народ вовсе не готов ни к социализму, ни к свободе, — но он готов к революции; сознание общественной неправды, злоба и удивительное единство — вот его сила» (XXIV, 198—199: ср. V, 199).



БАРИКАДЫ НА ПЛОЩАДИ МОБЕР В ПАРИЖЕ 23 ИЮНЯ 1848 Г.

Гравюра неизвестного художника

«Illustrated London News», 1 июля 1848 г.

В другой статье (без названия) Герцен резко осуждает реакционную парижскую журналистику — «памфлетистов сточных труб», выступающих в защиту правительственных репрессий и поливающих грязью лучших деятелей революционной демократии (XXX, 496—497).

23 марта 1850 г. в Théâtre de la République (Comédie Française) состоялась премьера драмы Ф. Понсара «Шарлотта Корде». Для «Voix du Peuple» Герцен написал на нее большую рецензию с развернутой характеристикой французской революции XVIII в. и ее выдающихся деятелей (VI, 239—246).

Получение на руки крупного капитала, вырванного из рук царского правительства, стало кивает Герцена с деловым миром Парижа — банкирами, нотариусами, домовладельцами. Во главе финансовой олигархии стоял тогда барон Дж. Ротшильд, с которым Герцен нередко встречался и переписывался *. Впоследствии Ротшильд занял заметное место в обширной портретной галерее «Былого и дум». Специфический характер их взаимоотношений заставлял Герцена писать о Ротшильде в сдержанных и порой благожелательных тонах, избегая всего, что могло оскорбить или обидеть «делового партнера». Герценовский Ротшильд совсем не похож на оттачивающего выскочку-банкира, вроде того, которого густыми мазками изобразил Бальзак в нескольких своих романах под именем *барона Нусингена*. Ротшильд, возможно, был одним из прототипов Нусингена — собирательного образа капиталистического воротилы и афериста времен Июльской монархии, — но отнюдь не психологическим портретом конкретного лица.

Тогда же Герцен столкнулся в Париже с изощренным бюрократическим формализмом французских правительственных учреждений, причем в порядках республиканской Франции и самодержавной России он обнаружил немало общих черт. Подобные аналогии вызывала у Герцена и французская политическая полиция — от префекта до «шпионствующего юноши» в префектуре.

Общественная атмосфера того времени впечатляюще передана Герценом в «Письмах из Франции и Италии»:

«Террор, сальный, скрывающийся за углом, подслушивающий за дверью, тяготит каким-то чадным туманом надо всем <...> Все боятся дворников, комиссионеров, трех четвертей знако-

* Письма Герцена к Ротшильду до сих пор не обнаружены.

мых; письма приходят подпечатанные, на углах улиц постоянно бродят подозрительные фигуры в сюртуках не по мерке, в потертых шляпах, с подло военным видом и с палкой в руке. Они провожают глазами прохожих и передают их своим партнерам» (V, 195—196).

Летом 1850 г. Герцен был выслан из Франции и переехал в Ниццу, входившую тогда в состав Сардинского королевства.

Последнее, четырнадцатое письмо «Писем из Франции и Италии» написано в Ницце уже после государственного переворота, произведенного Луи Наполеоном 2 декабря 1851 г., когда Франция надолго «разошлась с революцией». Герцен с глубокой горечью подводит в нем итоги недавним событиям, заглядывая в то же время за горизонты ближайшего будущего. Он испытывает при этом глубокую жалость к французскому народу, который «так славно жил», был так любим — «может, больше, нежели сознаём», — и предостерегает от «холодных слов», насмешливых улыбок, укоров и упреков по адресу Франции, отныне превращающейся, по его мнению, в чисто историческое понятие. «Париж останется в памяти веков Иерусалимом революции, — поясняет свою мысль Герцен. — Религия будущего родилась среди потоков французской крови, в груди французских мыслителей, среди страдания французского пролетариата *. Да не посмеет ни один народ радоваться ее падению <...> Если Франция во многом виновата — она много наказана...» (V, 212—215).

Красноречива характеристика «Цезаря полиции» — президента республики Луи Наполеона, этого интригана «по семейному преданию», «иностранца, выросшего вне Франции», постоянно изучавшего жизнь своего дяди Наполеона I и не находившего в ней «ничего, кроме беспрдельного презрения к французам и к людям вообще».

Писатель убежденно предсказывает свирепый террор и — главное — войну, которая необходима новому правительству, чтоб удержаться у власти.

И в других своих произведениях и письмах Герцен бичует этого «бледного от ужаса кучера, мчащего Францию на кладбище; человека, в котором воплотилась и революция и реакция; честолюбивого, на все способного авантюриста; «сфинкса с узенькими глазками, ухарски зачесанными висками»; «косоного кретина», «пресного, бесхарактерного, бесплодного, стертого», «угрюмого, некрасивого <...> прозаического» (V, 197; XI, 491; XIV, 215; XXIII, 110) **.

«Франция упала по горло в Наполеона (III) и успокоилась в нем», — к такому безотрадному выводу приходит Герцен (XIV, 166).

«Военный деспотизм, правительственный произвол, всемогущую и бесконтрольную полицию, отсутствие личной свободы» — вот что принесло Франции, по мнению Герцена, безжалостное подавление попыток социальной революции. Новый порядок совместил в себе «все тяжкое монархии и все свирепое якобинизма» (XI, 52; XX, 20).

В августе 1852 г. автор «Писем из Франции и Италии» покидает Европейский континент и переселяется в Англию. Начинается новый этап его жизненного пути. Вскоре он надолго снимет с себя «вериги чужого языка» (XII, 62) и отдастся главному делу своей жизни — «русской пропаганде». «Впавшая в детство» Франция уже не будет занимать в его интересах такого заметного места, как прежде. Отрекаясь от Франции буржуазной, прозаической, деградирующей, он не перестанет, однако, ценить ее науку, культуру и социальные учения.

Из «западных» проблем, продолжавших волновать Герцена, оставалась одна, действительно требовавшая осмысления (главным образом на французском материале), — о роли буржуазии в современном обществе и о ее исторических судьбах. Этой проблеме посвящен ряд работ Герцена («Западные арабески» в «Былом и думах», «Première lettre», «Оба лучше», «Концы и начала» и др.), и от нее во многом зависела судьба его далекой родины. Вопрос ставился так: быть или не быть в России буржуазии и буржуазным порядкам.

Уже в первых главах «Писем из avenue Marigny» Герцен подверг обличительной критике французскую буржуазную культуру, отрицая не только «великое прошедшее» буржуазии, но и самую возможность для нее великого будущего.

Буржуазия, по мнению Герцена, не разрешила ни одного из важнейших социальных вопросов, поставленных перед ней Великой французской революцией. Свобода, провозглашенная

* В понятие *пролетарий* Герценом, как известно, вкладывалось содержание, отличавшееся от современного: это был не «наемный рабочий в капиталистическом производстве», а неимущий представитель городских низов.

** В «Былом и думах» Герцен обозначает его и как «господина средних лет, ни толстого, ни худого» (XI, 491) — это гоголевская характеристика Чичикова, что не отмечено комментаторами 30-томного Собрания сочинений.



У НАЦИОНАЛЬНОГО СОБРАНИЯ В ПАРИЖЕ

Гравюра Смита

«Illustrated London News», 13 мая 1848 г.

тогда первым и основным принципом нового общества, превращена была буржуазией в свободу только для собственника; демократия свелась к чисто внешнему уравниванию в правах. С момента своего появления буржуа представляет собой «прозу жизни» и является на исторической сцене больше домовладельцем, чем гражданином (V, 34, 63—64, 125—130; XII, 472—474). Наследник блестящего дворянства и грубого плебейства, буржуа, как считал Герцен, «соединил в себе самые резкие недостатки обоих, утратив достоинства их».

Французскую буржуазию Герцен упрекал за ее непростительное отступничество, за предательский отход от революционных идеалов своих предков. «Собственность — это блюдо чечевичной похлебки, за него вы продали великое будущее, которому ваши отцы широко распахнули ворота в 1789 году», — возмущенно восклицал он (XX, 61).

Характернейшим представителем нового типа западноевропейской буржуазной интеллигенции Герцен в 1850-х годах считал Ораса — главного героя одноименного романа Жорж Санд, аморального эгоиста и беспринципного честолюбца, готового на любое преступление и предательство. Он утверждал, что «вся действующая, пишущая Франция» состоит из Орасов и что Орас — главный виновник недавних бедствий, обрушившихся на Европу.

Интересен вывод, который делает Герцен, сопоставляя персонажей двух смежных социальных формаций — мелкого буржуа середины XIX в., Ораса, и аристократа конца XVIII в., героя известного романа Луве де Кувре «Приключения шевалье де Фоблаза»: для уничтожения «мира Фоблаза», т. е. французского феодального строя, понадобился «громовой удар» 1789 г., т. е. революция ограниченной силы, в то время как «мир Ораса» — буржуазное общество — может быть уничтожен лишь «землетрясением», т. е. грандиозным социальным переворотом.

Герцен сравнивает Луве де Кувре с правоописателем французской буржуазии периода Июльской монархии Полем де Коком, объясняя популярность последнего резким понижением культурного и художественного уровня как писателей, так и читателей во Франции 1830—1840-х годов.

Этот процесс деградации искусства и его восприятия еще не прекратился, констатирует Герцен, и герои произведений минувших десятилетий, имевшие в своем облике немало симпатичных и гуманных черт, постепенно вытесняются новоявленными персонажами, олицетворяющими последнюю фазу буржуазного строя. Находчивый, остроумный, свободолюбивый герой комедии Бомарше — Фигаро, бесребреница Лизетта (любимый персонаж Берамже) в середине XIX в. кажутся, по мнению Герцена, чуть ли не средневековыми святыми, рыцарями без страха и упрека.

Переходя от литературы публичных женщин к литературе «публичных мужчин», т. е. политиков, Герцен также отмечает резкое падение нравственного уровня, характерное для современной общественной жизни, художественного творчества и публицистики. В прежние исторические периоды отдельные аморальные явления и люди, чтобы стать предметом живописания, должны были достигать исполинских масштабов. Теперь же самые заурядные шпики и провокаторы считают возможным писать о себе книги и выставлять себя напоказ, словно они — героические личности, а не подонки общества (см. XII, 471—480).

Из суждений Герцена о Франции, французах и французском национальном характере можно было бы составить выразительную антологию, в которой преобладали бы отнюдь не беспристрастные оценки, а резкие и желчные филиппики.

Восхищаясь «деятельным французским фибрином», так же как исключительной «энергией, отвагой, благородством» французов, их «подвижной натурой» и свободолюбием (V, 173—176, 328; VI, 49; X, 218 и др.), Герцен в то же время обвинял их в ряде кричащих недостатков — умственной ограниченности, консерватизме, кровожадности, невежестве, скупости, страсти к стяжанию, к риторике, к полицейскому террору, власти и т. п. Чем объяснить это противоречие и противоречие ли это?

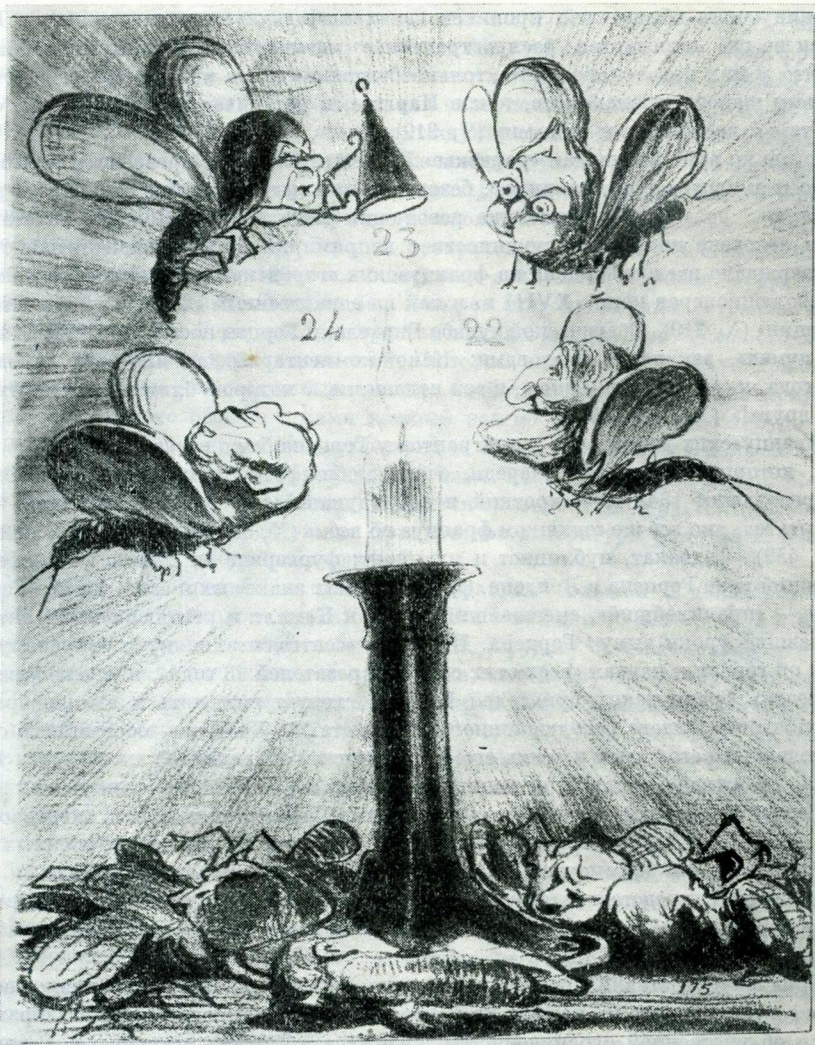
Настоящим народом Герцен считал не французов вообще, а только трудовой люд, особенно городских работников; в них видел он истинное воплощение лучших человеческих свойств, революционной стихии, а также блистательные задатки социалистического будущего. Французского крестьянства Герцен почти не знал (в чем откровенно признавался — ср. XI, 57), французская же аристократия в какой-то мере пользовалась его расположением из-за своих богатых исторических и культурных традиций, и он представлял ее себе как антипода буржуазии, «мещанства» — той «мелкой и грязной среды», которая, по его словам, словно тина, «покрывает зеленую свою всю Францию» (VI, 49). Таким образом, большинство негативных отзывов Герцена о Франции и французах имеет четкий социальный критерий и относится преимущественно к «среднему сословию» — французской буржуазии *. Так, отмечая как аксиому, что «французы — народ притеснительный, тупой в уважении к формальной законности, инквизитор и шпион по отсутствию понятия чести», он недвусмысленно поясняет, что это понятие *«глубоко лежит в душе пролетария и аристократа»*, но что его *«вообще нет в мещанине и легисте»* ** (V, 318; XXIII, 87).

В годы лондонской ссылки Герцену нередко приходилось вступать в более или менее тесные контакты с многочисленными «хористами революции», оказавшимися после событий 1848—1849 гг. на положении «рефьюжэ». Почти все эти второстепенные и третьестепенные участники революционного движения принадлежали к нетрудовым слоям мелкой буржуазии и несли на себе неизгладимую печать своего социального происхождения ***.

* Герцен, разумеется, понимал, что властительница современной Франции, крупная буржуазия, представляет собой особую социальную группу и резко отличается от мелкой буржуазии — «бедного мещанства», нередко сливающегося с «пролетариатом». «Простые, небогатые буржуа (...) на меня не делают того омерзительного впечатления, как не простые», — замечает он в «Былом и думах» (X, 219).

** Курсив мой. — Л. Л.

*** Большинство французских эмигрантов, по мнению Герцена, было увлечено в изгнание «благородным порывом и риторикой». Они не имели отчетливого представления о целях и задачах социальной революции, но за красивую революционную фразу готовы были в любую минуту ринуться на баррикаду. «А уж коли француз пойдет, он с нее не побежит», — добавлял Герцен (XI, 54).



«ПОЛИТИЧЕСКИЕ МОШКИ»

Реакционеры пытаются погасить огонь, зажженный февральской революцией 1848 года

Литография Домье, 1848

«Charivari», 3 июня 1850 г.

В нескольких главах «Былого и дум» воссоздается безотрадный трагикомизм повседневной жизни французских эмигрантов. Искренне сочувствуя этим обездоленным и обескураженным людям, оказавшимся вне родины и без средств к существованию в чуждой и враждебной среде, Герцен все же не отказывается от их беспощадных портретов и характеристик. В своих очерках о французских эмигрантах он постоянно варьирует такие определения, как «мелкость в самолюбии», «пустота», «узкость», «бедность умственных сил», «упорство в раздоре» и т. п. В том же духе, и не менее едкими красками изображал в это время лондонскую эмиграцию и К. Маркс.

Многие из беспощадных суждений Герцена о «французах» вообще и французских буржуа в частности, несомненно, основывались на его личных впечатлениях от типичнейших представителей французской эмиграции *. Такой возможности близко и долговременно наблюдать жизнь

* «Я был в соприкосновении, знаком и теперь знаком почти со всеми громозвучными репутациями трех революций, развалины которых теперь проживают в Швейцарии», — писал он в 1849 г. (XXIII, 187).

и нравы французских обывателей, проникать в их «зафасадную» жизнь у него в Париже не было. Герцен не раз опровергал распространенное мнение, будто французы «сообщительны», и говорил, что у них это «только форма, только болтовня» и что нет города, где легче было бы «надевать тьму шапочных знакомств, как в Париже, и нет ничего труднее, как в самом деле сблизиться там с несколькими людьми» (V, 319).

Конечно, не ко всем французам-«рефужье» Герцен относился с презрением или полупрезрением. Из массы эмигрантов он, например, безоговорочно выделял богато одаренного революционера-пролетария, деятельного участника революции 1848 г. Э. Бартелеми. Сочетание в этом незаурядном человеке природной гуманности с непримиримой классовой ненавистью убедительно подтверждало взгляд Герцена на французских «городских работников» как на истинных потомков революционеров конца XVIII в. и как на единственный «искренний и настоящий элемент революции» (X, 219). Трагической судьбе Бартелеми Герцен посвятил сочувственную главу в «Былом и думах», заключив ее словами: «Какой комментарий дал мне этот человек к ужасам 93 и 94 года, к сентябрьским дням, к той ненависти, с которой ближайшие партии уничтожали друг друга!» (XI, 78—79).

Среди французских демократов и эмигрантов у Герцена было несколько глубоко преданных ему друзей, которых он, в свою очередь, очень любил. Это были главным образом активные участники революции 1848 г. — «кроткий и добродушный» М. Э. Тесье дю Моте — химик и естествоиспытатель, но все же «слишком француз во всем» (X, 307, 312); «добрый, милый» А. Таландье (XI, 459) — адвокат, публицист и музыкант; фурыерист А. Девиль — профессор медицины, домашний врач Герцена в Лондоне. Среди близких знакомых и завсегдатаев Герцена были братья Боке — «премилейший», смешнейший капитан Камилл и революционный активист Жан Батист, дававший уроки сыну Герцена. По этому «сентиментальному и свирепому» человеку Герцен, как он говорил, изучал «всех этих сильных резателей 93 года», т. е. якобинцев (XXIII, 114). В перечень французских приятелей Герцена следует включить и высокообразованного, умного и свободомыслящего революционного эмигранта Ж. Доманже, постоянного собеседника Герцена, «подчищавшего» язык и стиль его французских сочинений. О своем друге И. Лавироне, инженере, сложившем голову при защите революционного Рима от французских интервентов в 1849 г., Герцен выразился так: «В его жилах текла, без всякой примеси, энергическая, суровая, когда надобно, и добродушная, веселая галло-франкская кровь девяностых годов» (X, 81). Это был тот тип французов, которым Герцен не устал восхищаться.

С виднейшими представителями французской эмиграции в Лондоне Ледрю-Ролленом и Л. Бланом Герцен время от времени встречался; в «Былом и думах» он оставил их параллельные характеристики.

Ледрю-Роллен представлял собой, по мнению Герцена, живой анахронизм; несерьезность его суждений и беспочвенность надежд на близость революционного взрыва во Франции свидетельствовали об умственной ограниченности и об утрате чувства реальности. Революционный жаргон Ледрю-Роллена в глазах Герцена являлся почти пародийным перепоном речей великих ораторов в Конвенте 1793 г., и автор «Былого и дум» не только на страницах этой книги, но и при личных встречах с прославленным деятелем 1848 г. не мог удержаться от вполне оправданной иронии.

Ограниченным, хотя и блестяще одаренным и весьма симпатичным человеком Герцен считал и Л. Блана, с его незыблемой самоуверенностью, «японской» неподвижностью ума «во всем общем» и исключительным интересом к Франции, «только к Франции» (XI, 47—50). В то же время он отмечает, что это человек «строгий по жизни, неукоризненной чистоты в мнениях, вечно работающий сам, sobre <трезвый>, мастер говорить, популярный без фамильярности, смелый и вместе осторожный», умеющий действовать на массы (XI, 40).

Еще в 1851 г., приехав из Ниццы на короткое время в Париж, Герцен смог убедиться, что пользуется во Франции почетной известностью, и даже почувствовал себя, как он сам говорил, «очень львом, в моде» (XXIV, 191).

Известности Герцена как публициста заметно способствовала его брошюра «Du développement des idées révolutionnaires en Russie» *, представлявшая собой широкую историческую панораму идейного развития России. Это сочинение как бы осуществляло задачу, завещанную Герцену его старшим другом П. Я. Чадаевым. Автор «Философических писем» убеждал Герцена

* До сих пор не установлено, на каком языке была написана эта брошюра — французском или русском.

«сродниться с каким-нибудь из народов европейских и с языком его, чтобы (...) высказать все, что на сердце». «Есего бы, мне кажется, лучше было (бы) усвоить вам себе язык французский, — писал Чаадаев. — Кроме того, что это дело довольно легкое, при чтении хороших образцов, ни на каком ином языке современные предметы так складно не выговариваются» (XI, 532).

Французский язык в XIX в. был языком международным. Несмотря на очевидные пробелы в теоретическом знании языка *, Герцен писал по-французски ярко, выразительно, сохраняя своеобразие своего неповторимого русского стиля. Даже то, что обычно считается крупным стилистическим недостатком — калькирование иноязычного синтаксиса, — благодаря ярко выраженной индивидуальной манере Герцена превращалось в редкое достоинство. Это подчеркивалось и французскими рецензентами, и личными знакомыми Герцена — французами. Особенно характерен отзыв газеты «Courrier de l'Europe» при публикации отрывка из «Былого и дум», переведенного самим Герценом, — «страниц, полных жизни, ума, нежности и той благотворной иронии, которая высмеивает только зло, которая, вместо того чтобы раздражать, пробуждает и просвещает самые великодушные чувства, свойственные человеческой природе». «Наши читатели, так же как это бывало с нами каждый раз по прочтении чего-нибудь написанного Герценом по-французски, — продолжал рецензент, — будут удивлены и очарованы, видя, какой оригинальный характер принимает французский язык под этим русским пером; и, отдавая себе отчет в том, насколько автор в своем стиле является одновременно и русским и французом, они, без сомнения, подумают, какой удачей для французской литературы было бы почаще предоставлять права гражданства таким писателям»⁵².

Брошюра «Du développement...» имела во Франции большой и долговременный успех. Французские читатели «серьезного круга» отзывались о ней как об «интересном и глубоко задуманном труде», обладающем полной мощью (П. Ж. Прудон)⁵³, «великолепном исследовании, цельном и оригинальном», содержащем «неприкрытые истины, глубоко волнующие места» (Э. Кёрдеруа — XI, 63), как о новаторской книге, в которой равно отразились «историк и философ, политик и истинный революционер» (Т. Торе** — Л VI, 672—675). Он «пишет на нашем языке с героической мощью», — заявил по поводу этой книги знаменитый историк Ж. Мишле (см. ниже).

Одной из лучших своих вещей Герцен считал написанную им по-французски брошюру «Le peuple russe et le socialisme» в форме открытого письма к Мишле. Эта работа должна была ознакомить европейскую общественность с народной Россией, являвшейся тогда для Запада и финнсом, и пугалом одновременно. Он доказывал при этом, что основы русской крестьянской жизни во многом близки возжеленным идеалам французских социалистических учений. Новое сочинение Герцена также вызвало восторг у Мишле. Между ними навсегда установились тесные дружеские отношения. Поразительный талант Герцена, его энергичная натура и целеустремленная общественно-литературная деятельность высоко поставили его в глазах Мишле. Герцен же «под сединами» своего французского друга находил безгранично много «поэзии и юности» (XXX, 584). Умение выдающегося историка с художественной рельефностью воссоздавать прошлое Франции, его редкая эрудиция и героический гуманизм сильно импонировали Герцену, хотя идеалистическая философия истории, которой проникнуты многие труды Мишле, казалась ему несерьезной и устарелой. Из всех работ своего друга он особенно оценил «La Renaissance», горячо пропагандировал эту книгу, доказывавшую, «как мало иссякла французская мысль»; называл ее «подлинным шедевром», «поэмой, картиной, философией эпохи» (XII, 277—288) и даже лично перевел на русский язык и напечатал несколько глав из нее в «Полярной звезде».

* Откликаясь в одном из своих писем на восторженные похвалы его французскому слогу, Герцен сознавался, что ему не хватает «углубленного и точного знания» французского и немецкого языков. «Я брал смелостью и не мог принудить себя заняться изучением этих языков, когда переполнены были сердце и разум. Поэтому мне приходится поручать кому-либо исправление грамматической стороны языка. Я воюю за свой стиль с моими друзьями-корректорами, как доблестный рыцарь, но смиренно уступаю, когда речь идет о сослагательном наклонении» (XXIV, 207—208). По поводу своей французской статьи «Prolegomena» (1867) Герцен писал: «Кому дать поправить, не знаю. Всем им статья станет поперек горла. А слог гадить я не позволю — далее чистки subjonctif'a «сослагательного наклонения» — ничего» (XXIX, 189; ср. 172).

Надо сказать, что Герцен до конца жизни делал орфографические ошибки в своих французских рукописях и письмах. Не всегда давалось ему согласование времен и правильное применение сослагательного наклонения.

** В своем дневнике 1852 г. Торе сделал запись: «Среди изгнанников всех наций наиболее разумным и истинным представителем всеобщей Революции является, по-моему, Герцен» («Souvenirs et pensées de Théophile Thoré (1807—1869)». — «Nouvelle Revue Retrospective», 1901, N 86, p. 82).

Французский друг Герцена, А. Таландьё, в открытом письме к нему, появившемся в первой книжке «Полярной звезды», блестяще определил характер его деятельности: «Вы стараетесь, чтоб Запад и Россия поняли друг друга на почве революции, чтоб будущее единство народов основалось не на самовласти, а на свободе, было бы вольным братским признанием друг друга. Я не знаю цели в наше время,— добавлял Таландьё,— которая была бы выше и благороднее вашей».

Наметившееся после Парижской мирной конференции 1856 г. тесное сближение между бонапартистской Францией и императорской Россией сильно встревожило Герцена. В своей французской брошюре «La France ou l'Angleterre?», специально написанной по этому поводу, он горячо доказывал, что нынешняя Франция не может являться для России достойной попутчицей в будущее, что союз с нею и бесплоден, и вредоносен. Эта «воинственная, солдатская» Франция, утверждал Герцен, находится в состоянии деградации; в ней свирепствует политический террор, уничтожающий «мысль и стремления», преследующий «сожаление и скорбь», развращающий, подкупающий деньгами и орденовыми крестами. «Если позволить этому так продолжаться,— предупреждал Герцен,— то через одно-два поколения излечить народ, имеющий лишь сбивчивые понятия о праве, возможно, будет уже слишком поздно». При этом он горячо рекомендовал французам взять на себя «великий труд внутренней перестройки», прислушаться к голосу своих серьезных мыслителей и не только подвергнуть отрицанию монархическую и феодальную Францию, но и Францию поверхностного либерализма, Францию Беранже, благоговейно хранящую в памяти громовые победы Наполеона (XIII, 228—253).

После появления в 1854 г. во влиятельнейшем парижском журнале «Revue des Deux Mondes» двух больших статей о Герцене, написанных критиком и переводчиком И. Делаво, он может уже безоговорочно считаться всевропейской знаменитостью. Первая из этих статей была посвящена философским и художественным произведениям Герцена⁵⁴, вторая, вызванная выходом в свет русского издания «Былого и дум», представляла собой перепечатку (в виде выдержек) значительной части «Тюрьмы и ссылки».

Несмотря на поверхностный характер этих «добрых, но уж очень глупо консервативных» статей (VIII, 406; XXV, 204), в них встречались «крайне лестные» характеристики Герцена, прочно усвоенные затем французской и вообще зарубежной критикой,— о его исключительной талантливости и о высоком месте, занимаемом им в первых рядах современной русской литературы среди выдающихся последователей Гоголя.

Французские критики утверждали, что одна страничка Герцена вернее раскрывает внутреннюю жизнь России, национальную душу народа и сущность вещей, чем длинные, кропотливые описания других мемуаристов. «Правда сверкает в его умных воспоминаниях со всей прелестью неограниченности»,— писал один из рецензентов⁵⁵.

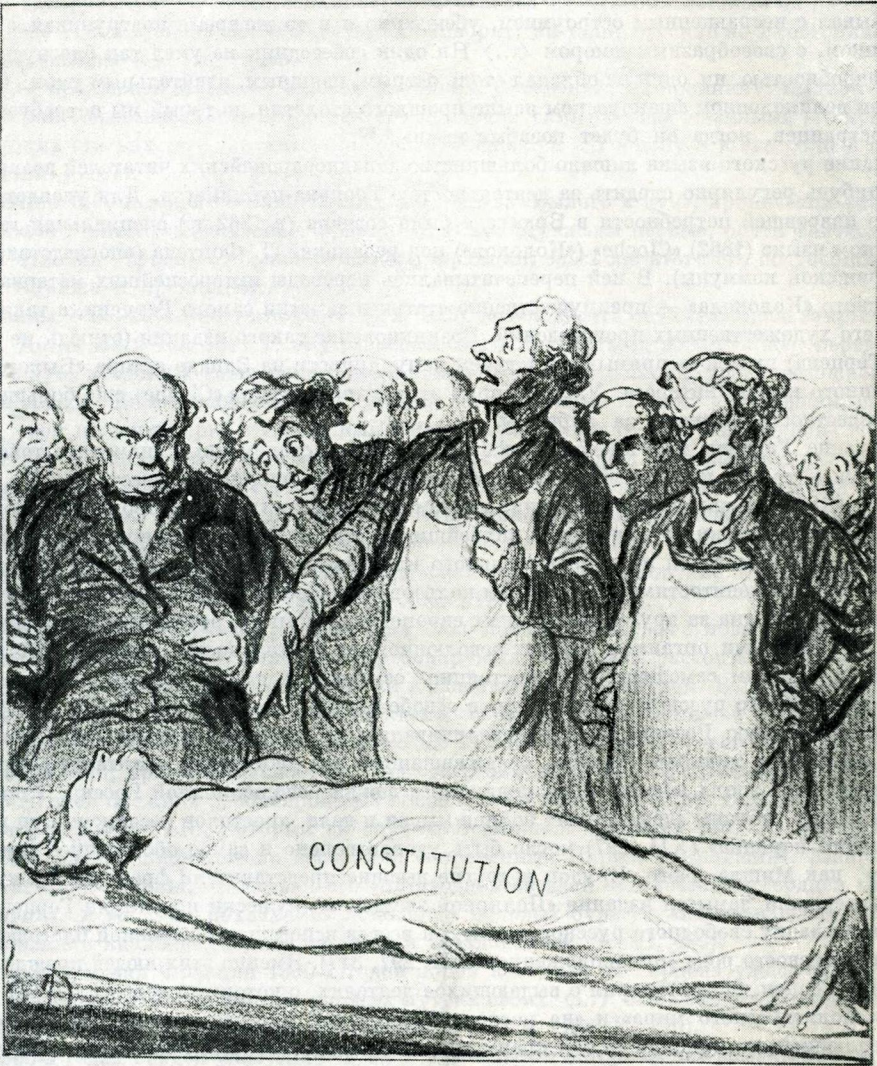
С почти единодушным одобрением отзывалась парижская пресса на изданный во Франции в 1860—1862 гг. очень хороший, по мнению Герцена, авторизованный им перевод начала «Былого и дум» (X, 381), который был напечатан Э. Дантю в трех томах под названием «Le monde russe et la révolution» (название это Герцен находил «скверным» — XXIX, 131)*. Рецензенты превозносили громадный талант Герцена, его редкий интеллект, «свежесть чувств», цельность верований, мощь и разнообразие познаний, «почти женскую впечатлительность», предельную искренность. Отдавалось должное и искусству, с которым Герцен «приоткрывал для публики святилище своих личных переживаний»⁵⁶.

В предисловии к этому изданию переводчик особенно акцентировал исключительную верность красок Герцена и объективность при создании портретов современников, несмотря на едкость и иронию, свойственные его таланту.

Гюго охарактеризовал «Былое и думы» как «летопись чести, веры, высокого ума и добродетели». «Вы заставляете ненавидеть деспотизм, вы способствуете уничтожению чудовища; в вас виден неустрашимый боец и великодушный мыслитель. Я с вами!» — писал он автору после прочтения первого тома издания Дантю⁵⁷.

Мишле нашел в книге Герцена «сотни вещей, трепещущих жизнью». «Все, что исходит из-под вашего пера, носит на себе яркую печать оригинальности, остроумной и красноречивой»,— заявил он в письме к Герцену (Л VI, 131).

* Переводчик указал в предисловии, что заглавие было им изменено не из рекламных соображений, а потому, что в придуманном им названии книги «ясней и отчетливей» проступает ее главная тема. Интересно также указание Делава, что перевод был просмотрен Герценом в рукописи и что все его пожелания были учтены (ср. XXV, 326).



УРОК АНАТОМИИ

Литография О. Домье

«Charivari», 21 августа 1869 г.

Французская пресса 1850—1860-х годов отмечала беспощадную прозорливость Герцена, его энергическую мысль, сосредоточенную страсть, поразительную чистоту побуждений, а также изящество и силу его французского слога⁵⁸.

Зарубежные знакомые восхищались и *устной* французской речью Герцена. Это «человек редких достоинств и изумительный собеседник», отмечалось в одной из французских газет (1865)⁵⁹. Рафинированные стилисты и блистательные знатоки французского литературного языка братья Э. и Ж. Гонкуры артистически оценили в своем дневнике его «мягкий, медлительный говор», «тонкие, изящные, отточенные, иногда даже изощренные мысли», которые «всегда уточняются, освещаются словами», приходящими к нему «не сразу, но зато каждый раз удачно»⁶⁰. А Ж. Кларти, историк, прозаик, драматург и публицист, впоследствии директор Со-

* П. Д. Боборыкин несколько иначе характеризовал французскую речь Герцена. Описывая встречу и «диалектический турнир» автора «Былого и дум» с известным философом-позитивистом,

médie Française, писал о Герцене, с которым встречался в 1869 г.: «Герцен любил рассказывать и рассказывал с несравненным остроумием, убежденно и в то же время подтрунивая, с гортанным смехом, с своеобразным юмором (...) Ни один собеседник не умел так блеснуть неожиданной подробностью, ни один не обладал столь острым, изящным, язвительным умом. Он говорил на том великолепном французском языке прошлого столетия, который мы потребуем обратно у иностранцев, когда он будет позабыт нами» * 62.

Незнание русского языка лишило большинство западноевропейских читателей возможности сколько-нибудь регулярно следить за деятельностью Герцена-публициста. Для удовлетворения этой явно назревшей потребности в Брюсселе была создана (в 1862 г.) специальная газета на французском языке (1862) «Cloche» («Колокол») под редакцией Л. Фонтена (впоследствии участника Парижской коммуны). В ней перепечатывались переводы интереснейших материалов из герценовского «Колокола» — преимущественно статьи и заметки самого Герцена, а также некоторые из его художественных произведений. Возникновение такого издания (отнюдь не по инициативе Герцена) являлось прямым следствием популярности на Западе автора «Былого и дум» и обостренного к нему интереса. Удовлетворяя этот интерес, газета «Cloche» еще больше увеличивала известность Герцена за рубежом.

Включение Герцена в «Panthéon parisien» — «Альбом современных знаменитостей» начала 1860-х годов — также красноречиво свидетельствует о его широкой известности.

В 1850—1860-х годах (живя в Англии, а затем в Швейцарии) Герцен продолжал поддерживать дружеские отношения и переписку с виднейшими представителями французской демократии. Теперь он мог не опасаться пренебрежительного или покровительственного тона при общении с европейскими знаменитостями, так как сам пользовался известностью в западном мире. Книги Герцена выходили одна за другой на главных европейских языках, рецензировались значительнейшими зарубежными органами печати; революционная деятельность издателя «Колокола», его борьба с русским самодержавием постоянно освещались периодической печатью разных стран; роль «великого русского изгнанника» в освобождении крепостных, а также его влияние на правительственную Россию даже преувеличивались и обрастали всякого рода легендами. Яркая и самобытная личность Герцена, отражавшаяся в его сочинениях, вызвала восхищение. Выдающиеся люди эпохи видели в нем подлинного вождя революционной России. Таким отношением к себе со стороны «неутомимых бойцов мысли и дела, апостолов независимости и нового общественного порядка» (XII, 297) могло быть удовлетворено и самое обостренное самолюбие.

О том, как Мишле, Гюго, Прудон и другие высшие представители французской культуры горячо поддерживали замысел издания «Полярной звезды» и дружески протянули Герцену руку, «придя на закладку свободного русского дела», он всегда вспоминал с глубокой благодарностью и видел в этом своего рода «рукоположение» (XII, 297, 317). Именно этих людей прежде всего и имел в виду Герцен, когда говорил о выдающихся деятелях, с которыми встречался «на высших вершинах политического мира» и «на последних маковках литературного и артистического», когда революцией его прибило «к тем краям развития, далее которых ничего нет» (IX, 112).

В 1860-х годах известный публицист и социолог Ш. Мазад напечатал в «Revue des Deux Mondes» ряд серьезных статей о пореформенной России, охарактеризованных Герценом как «блестящие и превосходные картины» (XX, 52). Заметное место в них уделено издателю «Колокола». «Могущество г. Герцена в России поразительно, — писал Мазад в первой статье. — Это истинный диктатор нового поколения; и в признании, что его нравственный авторитет одерживает верх над материальными авторитетами самого правительства, нет ни малейшего преувеличения. Без всякого тщеславия может он сказать, что в состоянии померяться силами с Александром II и обращаться с ним, как равный с равным. К тому же это литературный талант, полный мощи и страсти; он владеет красноречием иронии и негодующей насмешки. Он рожден агитатором, великолепно умеет

создателем четырехтомного «Словаря французского языка» Э. Литтре, мемуарист писал: «И тут я сразу увидел, до какой степени Герцен, несмотря на продолжительное пребывание за границей, остался русским человеком и москвичом 30-х и 40-х годов. Говорил он бойко по-французски, но думал по-русски, и нам всем, присутствовавшим при этом состязании, было заметно, что старик Литтре часто затруднялся сразу схватить то или иное выражение Герцена; его слова были французские, а обороты — русские» 61. Между тем «настоящие французы» именно это своеобразие особенно ценили во французском стиле Герцена, предпочитая его гладкому и нормализованному строю языка.

* Как уже отмечалось мною в начале статьи, в детстве и отрочестве Герцен учился у французских эмигрантов, они-то и передали ему свое произношение с некоторыми особенностями, характерными для XVIII в. и уже утраченными в самой Франции.

вызывать доверие своих соотечественников, пользоваться всеми особенностями их национального духа — и до такой степени искусно, что, как говорят, ни один русский не в состоянии устоять перед воодушевлением его слова...

«Это, — продолжал Мазад, — человек глубоких убеждений, он проникнут пылкой любовью к своей родине; возвышенность его характера признана самыми ожесточенными его врагами»⁶³.

В других статьях того же цикла Мазад возвращается к Герцену и к его роли в политической жизни России⁶⁴.

Франция 1860-х годов посвящена последняя глава «Былого и дум», иронически озаглавленная «La belle France» («Прекрасная Франция»). В ней отражены первые, почти фантастические впечатления Герцена от бонапартистской Франции; здесь же итоги его позднейших наблюдений в Париже и провинции.

Границы «смирительной империи» (XI, 515) почти десять лет оставались закрытыми для Герцена. Когда же летом 1861 г. ему разрешен был наконец въезд во Францию, перед автором «Былого и дум» предстала совершенно «незнакомая страна», спокойная, уравновешенная, словно прибитая градом. До неузнаваемости изменился перестроенный Париж, утративший, по мнению Герцена, свой прежний ярко выраженный национальный характер. Нравственная стертость бонапартистского Парижа поразила Герцена. Это был не тот город, который он прежде любил и ненавидел; не тот, в который стремился с детства; не тот, который покидал с проклятием на устах. Это был Париж, утративший свою личность, равнодушный, откипевший. Во всем чувствовался постоянный гнет сильной руки. Полиция — аримо и незримо — присутствовала везде и во всякое время; ужасающий конформизм французской жизни проявлялся во всем, особенно в журналистике и искусстве (см. XI, 490—494; XX, 617; ср. X, 325).

В следующие свои приезды Герцен стал мало-помалу свыкаться с новым Парижем. Не все ростки общественной жизни, как он вскоре обнаружил, оказались растоптанными бонапартистской реакцией — многое продолжало расти и развиваться под спудом. В Латинском квартале, по мнению Герцена, медленно, но неотвратимо созревало революционное и социалистическое будущее Франции. Студенческая молодежь 1860-х годов поразила Герцена своей серьезностью, трезвостью мысли, принципиальностью. Она отвергала не только официальную пропаганду, но и отжившие идеи прежних революционных вождей, в частности П. Леру. Вызывал у нее осуждение и «старик-поэт» Гюго, который по случаю Всемирной выставки 1867 г., потеряв чувство реальности, идолопоклоннически восхвалял современный Париж — «падший», развращенный, бонапартистский Париж, — называя его «путеводной звездой человечества, сердцем мира, мозгом истории», и «пьянил похвалами» поколение молодых буржуа, «измельчавшее, ничтожное, самодовольное и кичливое, падкое на лесть и избалованное...» (XI, 499).

Провинциальная Франция 1860-х годов порой наводила на Герцена ужас: во время своих поездок он убедился в том, что она «во всех нутрах своих <...> еще находится в состоянии времен Тюрго», т. е. на уровне второй половины XVIII в. (XXIX, 370).

В 1860-х годах Герцен увлеченно читал и перечитывал исторические романы двух соавторов-эльзасцев — Эркмана и Шатриана: напумевшую «Историю новобранца 1813 года», «Мадам Тереза, или Волонтеры» и «Историю одного крестьянина». Он находил, что это «превосходные вещи по простоте, верности и пр.», в которых «галльский элемент исправляет недостатки тевтонства, а тевтонство смягчает галльский элемент». Все отзывы Герцена о произведениях Эркмана-Шатриана в высшей степени хвалебны. Особенно ценил он их огромное познавательное значение. «История одного крестьянина» для него — самая живая история Великой французской революции. «Рельефнее трудно представить эту эпоху»; «ярче картин из времен французских войн мало найдете»: «Дант бледнеет в своей хирургической поэзии, в своих описаниях божественного бесчеловечья перед очертками Эркмана и Шатриана», — утверждал Герцен (XIX, 108; XXVIII, 12, 14; XXX, 142, 156).

Среди бумаг писателя сохранилась вырезка из какой-то французской газеты от двадцатых чисел мая 1868 г. со статьей-отчетом о судебном процессе над рабочими, членами Парижской секции I Интернационала, обвиненными в нарушении закона о собраниях. В этой статье воспроизведена речь Л. Э. Варлена, рабочего-переплетчика, впоследствии одного из руководителей Парижской коммуны, расстрелянного версальцами.

Обращаясь к своим буржуазным судьям, Варлен восклицал:

«Почва проваливается под вашими ногами — берегитесь!»

Класс, только что появившийся на мировой сцене, чтобы воплотить в жизнь несколько великих идей общественной справедливости, класс, который был угнетен при всех правлениях,

класс труда, намерен принести начала возрождения <...> Один лишь ветер полной свободы может очистить эту атмосферу, пропитанную беззаконием и столь чреватую грозными бурями для грядущего.

Когда один класс утратил свое моральное превосходство, доставившее ему главенство, он должен поспешить ступешатся <...> Пусть же поймет наконец буржуазия <...>, что ей остается только слиться с молодым классом, приносящим с собой мощное возрождение, равенство и солидарность в свободе».

Последний абзац приведенного отрывка отчеркнут на полях Герценом. Отчеркнуто им и начало статьи с информацией о Парижской секции Интернационала и о вынесении приговора. Этот документ представляет собой характерную иллюстрацию к известному тезису В. И. Ленина об интересе, проявлявшемся Герценом к I Интернационалу⁶⁵.

В течение 1868 г. Герцен и Огарев издавали в Женеве как продолжение русского «Колокола» газету на французском языке «Kolokol (Cloche)» с подзаголовком: «Обозрение социального, политического и литературного развития в России». В этой газете и в Прибавлении к ней напечатаны десятки французских статей и заметок Герцена, обращенных к французской и общеевропейской демократической аудитории. Как и в конце 1840-х годов, Герцен доказывал западным читателям, что, помимо царской России, «воинственной и деспотической, завоевательной и агрессивной», существует *подлинно народная* Россия, вступившая на путь открытой общественной борьбы. При этом Герцен подвергал ожесточенной критике социальную систему Западной Европы, ее нравственность и цивилизацию, «часы» которой, по его мнению, «уже остановились» (XX, 51—70). Герцена возмущало и приводило в бешенство «высокомерное невежество» французов, особенно в отношении народной и революционной России, которую они отождествляли с Россией правительственной, официальной.

В «серьезных кругах» Франции эти статьи Герцена производили сильное впечатление. Некоторые из статей, по его собственным словам, были написаны «бойкой и с петардами»; в других он «бархатной перчаткой» подавал «французам» «попынную пилюлю». Язык этих французских статей Герцена «безмерно хвалил» сам Гюго (см. XXIX, 163; XXX, 167).

Герцен перепечатал в «Kolokol» перевод своего «Доктора Крупова», появившийся на французском языке двадцатью годами ранее в парижском журнале «Revue Française»⁶⁶. Специально переведенный им самим рассказ «Aphorismata к психиатрической теории доктора Крупова» также напечатан был в «Kolokol» 1868 г.

«Успех Крупова в Париже очень велик — помирают, хохочут да и только. Каков старина!» — не без удивления отмечал Герцен. «Об этом бедняге нет двух мнений — все им довольны...»; «Насколько нас наши стали меньше ценить, — настолько чужие любят и ценят больше — странно», — писал он в это время (XXIX, 308—310; XXX, 128).

Отдельные главы «Былого и дум» и «С того берега», появившиеся в «Kolokol» на французском языке, также произвели, по словам Г. Н. Вырубова, «большую сенсацию» в Париже, т. е. «в молодом Париже» (XXX, 21). Это поставило на очередь вопрос о публикации во Франции неизвестных там глав и частей, а также о переиздании в дополненном виде уже распроданных томов перевода «Былого и дум» — «Le monde russe et la révolution». Эту идею горячо поддерживали Мишле, Кине и Гюго. И Герцен вступил в переговоры с брюссельскими и парижскими издателями.

В конце 1868 г. Герцен принял решение прекратить издание «Kolokol». Свою попытку «рассказывать нашим соседям историю наших могил и наших колыбелей» он признал ошибочной и ненужной: «Мы мешаем им, нам присуща неуклюжая, несносная правдивость, бестактность варваров и неумолимая, дерзкая логика» (XX, 399—402) — так объяснял он причины ликвидации «Kolokol». Этот шаг сильно огорчил французских друзей Герцена. «Никто не сожалеет больше меня о „Kolokol“, — писал ему Э. Кине. — Ничто его не заменит. Я испытываю потребность поблагодарить вас за прекрасные часы, которыми я вам обязан. Каждый из ваших номеров был для меня ослепительным северным сиянием на нашем немом Западе» (XX, 566) *.

Художественные произведения Герцена конца 1860-х годов — серия очерков «Скуки ради» и повесть «Доктор, умирающий и мертвые» — можно, пожалуй, назвать «самыми французскими» во всем творческом наследии Герцена, исключая «Письма из Франции и Италии». Это не только

* Это письмо Кине Герцен опубликовал в подстрочном примечании к своему французскому переводу статьи «Мазурка», сделанному по настоянию того же Кине, который безмерно восхищался этим памфлетом. «La mazourka» вышла в Женеве в 1869 г. с посвящением Кине. Последние слова Кине были, вероятно, ошибочно разобраны Герценом, и их следует читать: *и в нашей западной ночи*.

Le Numéro : 50 centimes.

N^o 1.

Genève, le 1 Janvier 1868.

Terre et Liberté!

KOLOKOL

Vivos Voco!

(LA CLOCHE)

REVUE DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL, POLITIQUE ET LITTÉRAIRE EN RUSSIE.

Le « Kolokol » paraît le 1^{er} et le 15 de chaque mois. Le prix de chaque numéro de deux feuilles est de 50 centimes. Le supplément russe, 25 cent. Frais de poste non compris.

Toutes demandes et lettres pour le « Kolokol » doivent être adressées (franco) à M. S. Тенензевски, Boulevard Platinale, 7, Genève (Suisse).

Le Dépôt principal, en Suisse, est chez H. Georg, 10, Couraterie, Genève. En France, Librairie Internationale, 15, Boulevard Montmartre, Paris. En Angleterre, chez N. Trilman & Co, 60, Paternoster Row, Londres.

SOMMAIRE : Un fait personnel. — Prolegomènes. — La Russie actuelle et son développement.

Le *Kolokol* paraîtra le 1^{er} Janvier 1868 en français. En changeant de langue, notre feuille reste la même quant à l'esprit et au but. C'est la continuation de la feuille russe qui a paru durant dix années de suite, depuis 1857, à Londres et ensuite à Genève; nos lecteurs étrangers ont pu la connaître par l'édition française de Bruxelles (1863—1865).

ПЕРВЫЙ НОМЕР ФРАНЦУЗСКОГО ИЗДАНИЯ «КОЛОКОЛА»

Женева. 1 января 1868 г.

Фрагмент первой страницы

разностороннее (намеренно фрагментарное, «мозаичное») воссоздание жизни Второй империи, но и своего рода квинтэссенция философских, политических и эстетических взглядов Герцена на современную Францию. Значительную часть этих двух взаимно связанных сочинений занимают диалоги лирического героя с главным персонажем — разговорчивым доктором-французом, чудаковатым, но очень умным, много повидавшим, много испытывавшим на своем веку эксцентричным человеком, сохранившим до старости лет душевную теплоту и «несколько угловатый юмор» (XX, 456).

Еще в 1865 г. Герцен познакомился в южнофранцузском городе Монпелье с врачом-физиологом, членом Французской академии Ф. А. Лонже (1811—1871) — «веселым», «добрым и прекрасным» французом. В одном из своих писем, а также в «Скуки ради» и в статье «Действительный статский советник и кавалер М. С. Хотинский» он воспроизвел живую и остроумную реплику Лонже во время их совместной прогулки (см. XIX, 38—39; XX, 446; XXVIII, 14—15). Характернейшие особенности речи Лонже в передаче Герцена так близки по манере и колориту к «диалекту» главного персонажа «Доктора, умирающего и мертвых» (скорее, так *совпадают*), что можно без всякой натяжки предположить в Лонже прототипа (или одного из прототипов) герценовского доктора.

Французский «доктор Крупов» подвергает справедливой, хоть и едкой критике презираемый им буржуазный мир, буржуазное мировоззрение, нравы и нравственность; с глубоким отвращением отзывается он, в частности, о бонапартистском режиме, колониальной политике Франции, либеральных фразерах, погубивших революцию 1848 г., предавших народные интересы во имя частной собственности и права на стяжание. Клеймит он и беспринципный, навязчивый и хищный клерикализм. Взгляды доктора — это чаще всего взгляды самого Герцена; они проникнуты безотрадным скептицизмом в отношении ближайшего будущего Франции и разочарованием в результатах всех трех французских революций, особенно революции 1848 г., очевидцем которой, как и Герцен, был доктор.

Для главного героя повести, как и для Герцена, совершенно ясна неизбежность «свирепого» столкновения в недалеком будущем между трудом и капиталом. Рельефно переданы в повести и

впечатления от встречи доктора с одним из «мертвых» — реальной личностью — преуспевающим, плотоядным и самодовольным отступником революции, усмирителем Июньского восстания — А. Маррастом, беспринципным «временщиком», захватившим руководящие посты в правительствах 1848—1849 гг. Характерно, что доктор изображает Марраста точно в том же ключе, что и сам Герцен в других своих сочинениях и письмах (см., напр., VI, 63).

Центральное место в повести занимает глава «Умиравший» и ее герой — «святой Дон-Кихот революции» 1790-х годов Лукас Ральер, доживающий свой век на хлебах у своего сына и невестки, разбогатевших «мещан». Этот образ и раньше вставал в воображении Герцена, наводя на него, по его словам, «ужас и тоску» (XVI, 149). Он застал еще в живых нескольких величественно-суровых деятелей первой революции, «апостолов девяностых годов» (среди них наряду с известным художником А. Ф. Сержаном * был учитель Герцена — француз Бушо), принадлежавших к той же категории людей, что и Лукас Ральер. Невыразимый трагизм существования этих последних могикан Великой революции Герцен охарактеризовал еще в «Концах и началах» (1862): «Везде его встречает непониманье, безучастье, осужденье, полускрытый упрек, мелкие сче́ты и мелкие интересы. Его якобинских слов бояться при посторонних <...> Его невестка мучит его примирением с церковью, и иезуитский аббат швыряет по временам, как мимолетный ворон, посмотреть, сколько еще сил и сознания, чтоб поймать его богу в предсмертном бреде» (XVI, 151—152).

Тщательно выписан Герценом в этой главе портрет сына Лукаса — преуспевающего нотариуса Ииздора Ральера, типичнейшего буржуа новой формации — «большого дельца», умелого приспособленца, порой играющего в либерализм.

Предельно выразительно переданы отдельные эпизоды революции 1848 г. и своеобразная атмосфера того времени.

Над главой «Умиравший» Герцен работал в марте 1869 г. В юмористических сценах из домашнего быта, набросанных в это время старшей дочерью Герцена и озаглавленных «Фотографии (с оригинала)», встречается несколько упоминаний о повести «Доктор, умирающий и мертвые» и об одном ее персонаже — священнике-иезуите отце Амаранте (этим придуманным им именем, означающим в переводе «бессмертник», Герцен, как оказывается, был особенно доволен). Судя по «Фотографиям (с оригинала)», Герцену очень хотелось, чтобы глава «Умиравший» возможно скорее была переведена на французский язык, дабы «побесить французов поганых». В этих же сценах воспроизводятся — несколько заостренно и с заметным пародийным оттенком — желчные реплики Герцена вроде следующей: «Скаттина этот Emile Girardin. Нет, с каждым днем я Францию больше и больше ненавижу <...> Один только человек и есть у них, который что-нибудь да понимает, — зато мошенник» ** 67.

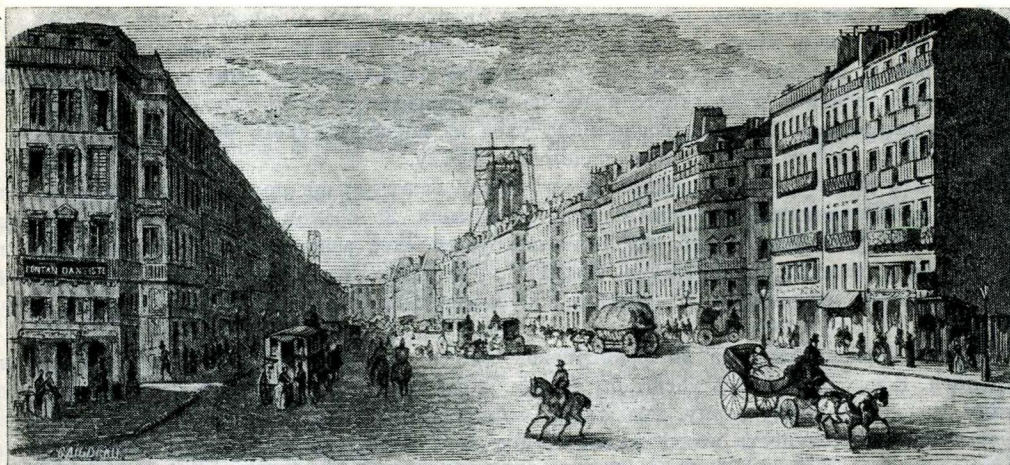
«Мои „Доктор и умирающий француз“ делают всеобщий фурор...», — писал Герцен из Брюсселя в августе 1869 г. (XXX, 163), — по-видимому, он сам читал эту повесть брюссельским знакомым в собственном неизвестном нам переводе.

В конце 1860-х годов перед Герценом с большой остротой встал вопрос о выборе постоянного местожительства. Мысль «пристроиться» в Париже, продолжавшем, несмотря ни на что, оставаться центром европейского общественного движения, политической, научной, литературной и художественной жизни, напрашивалась сама собой. Однако бонапартистский режим был глубоко ненавистен Герцену, и ему казалось, что жизнь в Париже окажется для него невыносимой, несмотря на существенную либерализацию режима, проводившуюся с 1868 г. Наполеоном III. «Оставьте мысль, что я ненавижу Францию и Париж, я просто *вижу* <...>», — так отозвался он на совет одного из друзей переехать в Париж. — Если б моя борьба, мое ремесло жизни было в Париже, я не задумался бы ни на минуту и переселился бы туда <...> Но добровольно, без пользы, нанять квартиру возле полицейской секальни — и слушать, как секут других, — не хочу» (XXX, 55).

Между тем политическая обстановка во Франции стала заметно меняться. Крупный успех антиправительственной оппозиции на выборах, обличительный тон радикальной прессы, рост стачечного движения, усиливающееся влияние I Интернационала — все говорило о близости падения Второй империи.

* Сержан умер летом 1847 г. в Ницце, за несколько месяцев до приезда туда Герцена, который о нем там, наверно, много наслышался.

** Имеется в виду тот же Э. Жирарден. Ср. в одном из писем Герцена 1869 г.: «Надобно опять их опелывать — дураки, т. е. французские публицисты. Е. Жирарден всех умнее» (XXIX, 153).



ПАРИЖ. УЛИЦА РИВОЛИ

Гравюра неизвестного художника, 1854

«Illustration», 28 октября 1854 г.

На этой улице Герцен жил последние недели своей жизни

«Гроза, давно собиравшаяся, разразилась без ударов и потрясений. Удушливая тяжесть атмосферы Парижа и Франции изменилась. Равновесие, устроившееся от начала реакции после 1848, нарушилось окончательно. Явились новые силы и люди». Такой постскрипtum сделал Герцен к повести «Доктор, умирающий и мертвые» летом 1869 г. (XX, 555; ср. 572).

«Поспала Франция довольно, — кажется, она просыпается», — читаем мы в одном из его писем, также относящихся к этому времени (XXX, 134).

Прежде чем окончательно решиться на переезд в Париж, Герцен отправляется туда для изучения обстановки на месте. Париж на этот раз показался ему «пёклом». Атмосфера там была насыщена электричеством, во всем чувствовалась близость грозы. «Здесь хаос, и мы бродим на вулкане <...> Эта страница парижской жизни стоит томов», — писал он Огареву (XXX, 222—223).

В Париже Герцен часто встречается с политическими деятелями разных группировок оппозиционных партий, с писателями и учеными; он чуть ли не ежедневно бывает в редакциях радикальных периодических изданий, на собраниях и митингах, с обостренным интересом ко всему присматривается и прислушивается, приходя к неутешительному выводу, что острый кризис переживается не только правительством, но и его оппонентами. В революционных кругах Герцен обнаруживает полнейшее отсутствие единства, разброд, междоусобную борьбу, неутрачивающую взаимную ненависть. Накал политических страстей, впрочем, вызывает в нем своего рода уважение к враждующим борцам, которые в своих столкновениях доходят до «героизма», или, как формулирует Герцен, «до сумасшедшей отваги» (XXX, 222, 516).

По словам современника, общественная жизнь Парижа, тревожная и бурная, волновала в это время Герцена, «точно молодого политического бойца. Он ходил всюду, где проявлялось брожение, посещая публичные лекции и сходки...»⁶⁸. Прежний пессимизм по отношению к Парижу уже прошел, но все же «сангвинических упований» у него не было (XXX, 208).

В Париже оказалось «много хорошего и серьезного». Для Герцена бесспорно, что история совершает «свой акт» именно теперь и именно здесь. Многие самым волнующим образом напоминают Герцену Париж 1848 г. В предвидении близких революционных потрясений он задумывается над странностями своей жизненной судьбы, явно предназначенной его для наблюдения «над новым кризисом старой болезни» и для ее описания... «Я был накануне 24 фев(раля) 1848 г. в Париже и писал мои письма об нем. Я был при Июньской борьбе <...> и — судьба опять достается мне через двадцать лет схватить несколько черт» (XXX, 200, 224, 227, 299, 516—517) *.

* В парижских газетах 1869 г. время от времени появлялась информация о Герцене, и из этого он сделал вывод, что продолжает «числиться по львам». Он вообще чувствовал, что там «очень хорошо поставлен» (XXX, 176, 200).

Внезапная, неожиданная, преждевременная смерть помешала, однако, Герцсуну стать очевидцем и летописцем надвигающихся событий всемирно-исторического значения — Франко-прусской войны, падения Второй империи, торжества Парижской коммуны, славного ее двухмечного существования и кровавого разгрома версальцами...

Демократическая Франция восприняла уход из жизни великого русского публициста и революционера как горькую и невосполнимую утрату.

Опасаясь антиправительственных выступлений, французская политическая полиция приняла ряд провокационных мер для их предупреждения. За прахом Герцена все же следовало несколько сот французов — рабочих, активных участников революции 1848 г., политических деятелей, журналистов, литераторов, ученых⁶⁹, — во много раз больше, чем при похоронах другого великого изгнанника, Г. Гейне, также скончавшегося в Париже четырнадцатью годами ранее.

Смерть Герцена вызвала во французской прессе разных направлений многочисленные некрологи. В них отмечались масштабы потери, давалась оценка Герцену как личности, гражданину, революционному борцу, художнику и публицисту. Отмечалось историческое значение общественной деятельности этого «великого русского патриота», его «огромный интеллект», «жгучая ирония», «доблестное сердце», «редкая энергия», «добродота». «Ум, страстность, красноречие являлись характернейшими чертами его таланта», — указывалось в одном из некрологов. Сравнивая Герцена с прославленным оппозиционным публицистом А. Рошфором, газеты отдавали предпочтение Герцену за его «более возвышенные взгляды» и «более серьезный патриотизм»⁷⁰.

Что касается реакционной печати, то она сделала попытку снизить революционный авторитет Герцена, безапелляционно утверждая, будто он под конец жизни отошел от своих прежних убеждений и окончательно примирился с самодержавием. Этим инсинуациям дал решительный отпор М. А. Бакунин в большой статье о Герцене, напечатанной в газете А. Рошфора «Marseillaise»⁷¹.

«Вчера угас голос сотни миллионов людей: великий представитель славян Искандер-Герцен умер, — писал Ж. Мишле. — Нам в Париже (<...>) выпало на долю принять его с распростертыми объятиями, сказать ему о том глубоком братском чувстве, которое мы <к нему> питаем» (Л ХХІ, 562—563).

Из всего, что написано было в это время о Герцене во Франции, своей глубокой проникновенностью выделяется некролог А. Таландые в газете «Démocratie». Причисляя «величайшего изгнанника» и «величайшего мыслителя» России к «самым великодушным, к самым нежным, подлинно гуманным сердцам, которые любовь к справедливости и ненависть к преступлению и лжи заставляли когда-либо биться», Таландые заключал: «Пусть Россия, являющаяся добычей реакции (<...>) даже не понимает теперь размера понесенной ею жертвы; мы убеждены тем не менее, что великий голос, недавно умолкший, вскоре будет услышан, признан, вызовет последователей и влияние его будет тем более могущественно, чем мучительней была жертва, которую он сумел принести. Близок день, когда (<...>) вся европейская социалистическая демократия наденет траур по этому великому гражданину, великому изгнаннику. Отныне Франция, на долю которой выпало хранить бранные останки Герцена, будет верно оберегать эту могилу — залог мира и дружбы между Западом и русским народом»⁷².

На родине Вольтера имя Герцена не забыто и теперь. Издаются переводы его сочинений; время от времени выходят в свет посвященные ему монографические работы; разыскиваются и публикуются отдельными книгами и в периодической печати разного рода документальные материалы. Рукописи Герцена и его переписки, хранящиеся во французских архивах и библиотеках, систематически изучаются и становятся достоянием французской, советской и мировой науки.

П Р И М Е Ч А Н И Я

¹ «Лит. наследство», т. 63, с. 522.

² Некролог А. Таландые в «Démocratie» (там же, с. 529—530).

³ Эти строки из «Гофмана» явно перекликаются с яростной инвективой против Вольтера, его «отвратительной улыбки» и «злокозненного влияния» в поэме А. де Мюссе «Ролла» (гл. IV). Поэма вышла в свет в 1833 г., т. е. именно тогда, когда Герцен писал «Гофмана».

⁴ Письма М. А. Бакунина, с. 209 (письмо от 23 июня 1867 г.).

⁵ Г. Н. В у р б о в. Революционные воспоминания (Герцен, Бакунин, Лавров). — «Вестник Европы», 1913, № 1, с. 61.

⁶ Там же, с. 62. «Г-н Герцен близок во многом к нашим великим людям 18-го века, особенно к Дидро», — констатировал в 1866 г. молодой французский историк Г. Моно, в будущем зять Герцена («Вопросы литературы», 1979, № 9, с. 311).

⁷ «Gazette du Nord», 1860, 26.V. (цит. по «Лит. наследство», т. 41-42, с. 200).

⁸ Письмо от 16 сентября 1848 г. («Лит. наследство», т. 62, с. 45).

⁹ См. об этом подробно в моей статье «Клад в забытой комнате» («В мире книг», 1977, № 1, с. 82—84).

¹⁰ Читал ли Герцен сочинения Дюкре-Дюмениля по-французски или же в русском переводе, не установлено. Заглавия приводятся здесь по русским изданиям 1800—1802 гг.

¹¹ «Я прочел томов пятьдесят французского „Репертуара“ и русского „Феатра“, — вспоминал Герцен, — в каждой части было по три, по четыре пьесы» (VIII, 47).

К словам «французского „Репертуара“» в 30-томном Собрании сочинений Герцена дан следующий комментарий: «Имеется в виду „Répertoire du théâtre français“, 68 vol. P., 1823—1829» (VIII, 47, 449). Это совершенно ошибочное указание. В «грудах» старых книг XVIII в., обнаруженных мальчиком около 1822 г., не могло находиться еще не вышедшее в свет серийное издание 1823—1829 гг. Надо сказать, что под этим и схожими названиями в конце XVIII и начале XIX в. в Париже почти одновременно выпускались разные серии пьес французского классического и современного репертуара. Одну из таких серий и читал в детские годы Герцен. Скорее всего, это была серия из 51 тома, выпущенная в 1813 г. издателями Менаром и Реймоном и, возможно, приобретенная братьями Яковлевыми для «обновления» своих парижских театральных впечатлений недавнего времени.

Серия разделена на две части: «Произведения первостепенные» и «Произведения второго порядка». Первая состоит из 23 томов — это собрание драматических произведений Корнеля (1—4), Расина (5—7), Кребийона (8—9), Вольтера (10—13), Мольера (14—20) и Реньяра (21—23); вторая часть — с 24-го по 51-й том — трагедии, драмы и комедии «второстепенных авторов». Среди них фигурируют, кстати сказать, Дидро, Бомарше, Лесаж, Мариво... Это издание имеется в Государственной театральной библиотеке (Москва).

«Феатр», упоминаемый Герценом, — сорокастрехтомная серия аналогичных сборников, выпускавшихся Российской академией в Петербурге в 1786—1794 гг. под заглавием «Российский Феатр, или Полное собрание всех российских феатральных сочинений». В этих сборниках напечатано 175 пьес.

¹² «Фигарова женидба, комедия в пяти действиях, сочинения Петра Августина Карона де Бомарше. Переведенная на российский язык А. А. Абзиминым». М., 1787. Керубино в этом переводе назван *Любимом*. Среди других действующих лиц — *Дон Гусман Оглупилов*, судья *Взяткогладов* и пастух *Стадин*. Персонажи Бомарше изображены следующим образом: «У меня от ужаса в голове засвербело», «хороша девка», «оболванил кругленько Базилия» и т. п.

¹³ «Взгляд на русскую словесность в течение 1823 года» («Полярная звезда на 1824-й год», с. 3).

¹⁴ Как сообщает в своих воспоминаниях Т. П. Пассек, Д. П. Голохвастов по поручению отца Герцена привез из-за границы «большой ящик французских и немецких книг для Саши» (Т. П. Пассек. Из дальних лет, т. I. М., 1963, с. 151). Когда это было и было ли вообще — не установлено. Сам Герцен об этих книгах нигде не упоминает.

¹⁵ Т. П. Пассек отмечает одну характерную подробность, относящуюся к 1830 г., — о совместном чтении с Герценом только что вышедшей ультраромантической трагедии Гюго «Эрнани». «Оба мы плакали над нею...» — отмечает мемуаристка (там же, с. 356).

¹⁶ Маршалль оставил заметный след и в умственном развитии Герцена, и в его творчестве — он послужил прототипом Жюзефа, благородного, кроткого, гуманного, безусловно честного и высоконравственного гувернера Бельтова в «Кто виноват?».

В этом произведении есть еще два колоритных персонажа французского происхождения. Первый из них — «француженка-мадам» Элиза Августовна, занимавшаяся с детьми супругов Негровых «одной французской грамматикой, несмотря на то, что тайна французского правописания ей не далась и она до седых волос писала с большими промахами» (IV, 46). У этой пронырливой и преуспевающей особы, надо думать, реальный прототип: «наставница-иностраница», гувернантка сестер Тучковых, т-ше Моро де ля Мельтьер, по свидетельству ее ученицы, — «уже старушка, хитрая и большая говорунья», которая с детьми «скучала и предпочитала разговаривать со старшими» (в 1840 г. Герцен посещал в Москве дом Тучковых). Второй персонаж, вероятно тоже имевший свой прототип, — г-жа Жукур, содержательница пансиона для девиц, распутная женщина, «неумолимо строгая к вопросам нравственности ближнего», одна из тех «бессрочноотпускных лореток и отставных актрис», о которых Герцен в «Былом и думах» говорит, что они «с отчаянья бросаются на воспитание, как на последнее средство доставить насущный хлеб» (IV, 81—82; VIII, 328; *Тучкова-Огарева*, 39).

¹⁷ Пушкинский «Борис Годунов» в то время еще не был опубликован. Чтения трагедии Пушкиным в 1826 г. в Москве у Веневитиновых и в некоторых других домах явились одним из самых ярких и значительных событий московской литературной жизни второй половины 1820-х годов. Сведения о чтениях и о самой трагедии дошли до Герцена, скорее всего, через его русского учителя И. Е. Протопопова, восторженного поклонника великого поэта.

¹⁸ *О. Барбье* — автор сборника стихов, озаглавленного по-итальянски «Il pianto» («Плач»). Возможно, что подзаголовок «Il pianto» главы «Западные арабески» «Былого и дум» (X, 116)

представляет собой реминисценцию названия книжки Барбье. Не исключено и то, что в этом заглавии — переключка с одноименным произведением итальянского поэта У. Фосколо (ср. XXI¹⁹ — 274).

¹⁹ См. воспоминания Н. И. Сазонова («Лит. наследство», т. 40-41, с. 196).

²⁰ С этим отзывом Герцена об «Отверженных» мог ознакомиться и сам Гюго. Французский перевод «Концов и начал» был напечатан в «Closche» в том же 1862 г.

²¹ Герцен, вероятно, имеет в виду известную работу И. Тэна о Бальзаке в книге: «Nouveaux essais de critique et d'histoire». P., 1865.

²² «Русский вестник», 1887, № 11, с. 706.

²³ Н. А. Герцен, находившаяся под сильным влиянием Жорж Санд, была, по-видимому, немало удивлена, когда Герцен, вопреки своим теоретическим воззрениям на свободу уже находящейся в браке женщины, решительно отверг на практике (узнав о ее сближении с Гервегом) принципы, проповедовавшиеся в романах Жорж Санд.

²⁴ Г. Гейне. Собр. соч., т. VII. М., 1958, с. 303.

²⁵ А. Я. Панаева (Головачева). Воспоминания. М., 1956, с. 135.

²⁶ В 1828 г. дядя Герцена, Л. А. Яковлев, возил его на спектакли французской труппы, в репертуаре которой были Мольер, Скриб, Делавинь и др., и это было для юноши «высшим наслаждением» (VIII, 53). В своих мемуарах Т. П. Пассек приводит любопытный эпизод, связанный с водевилем Скриба («любимым водевилем Саши Герцена») «Les premières amours, ou Souvenirs d'enfance». Позднее, в студенческие и послестуденческие годы, Герцен часто бывал в Малом театре, где преобладающее место в репертуаре занимали пьесы французских драматургов, и среди них — плодovitого Скриба. В периоды пребывания в Петербурге Герцен посещал Александринский и Михайловский театры. В последнем французская труппа исполняла на языке оригинала последние новинки парижских театров. На этой сцене Герцен, между прочим, видел известную пьесу Скриба «Geneviève, ou la Jalousie paternelle» с участием знаменитой актрисы Сильвены Арну-Плесси, которую он назвал *великой* («голос ее проникает в глубину сердца», «она тип величавой красоты, подавляющей силой, высотой» — XXII, 259).

Герцен не был ни меломаном, ни балетоманом, но с удовольствием посещал французские оперные и балетные спектакли. Либретто лучших опер того времени — «Жидовка» Галеви, «Немая из Портичи» («Фенелла») Обера, «Роберт Дьявол» и «Гугеноты» Мейербера — принадлежали, как известно, перу Скриба, и в некоторых из них Герцен «любил либретто больше музыки» (II, 265, 313).

²⁷ См.: А. И. Тургенев. Хроника русского. Дневники (1825—1826 гг.). М.—Л., 1964, с. 506—526.

²⁸ Н. Г. Чернышевский. Полн. собр. соч., т. III. М., 1947, с. 216.

²⁹ Характерен в этом отношении отзыв Герцена о статье А. Лебра, посвященной Гегелю (в «Revue des Deux Mondes»): «Очень умно и проникательно написана. Честь французу. Все ловко и живо схвачено, многое понято верно и горячо» (II, 274).

³⁰ В «Былом и думах» Герцен упоминает о том, что его двоюродный брат А. А. Яковлев («Химик») подарил ему в 1827 г., за два года до поступления в университет, естественноведческие труды О. П. де Кандоля и Ж. Кювье (VIII, 112, 456).

³¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 16, с. 25.

³² Там же, с. 30.

³³ Ср.: «Лит. наследство», т. 61, с. 693—694.

³⁴ П. В. Анненков. Литературные воспоминания. М. 1960, с. 298.

³⁵ Аналогичные высказывания мы находим и в разных автобиографических заметках В. С. Печерина.

³⁶ Об исключительно сильном влиянии французской общественной жизни и социальных учений 1840-х годов на передовую молодежь России вспоминает в своей книге «За рубежом» М. Е. Салтыков-Щедрин (Собр. соч., т. XIV. М., 1972, с. 111—114).

³⁷ «...Столбик с куклой чугунной//Под шляпой с пасмурным челом//, С руками, сжатыми крестом» («Евгений Онегин», гл. VII, ст. 19).

³⁸ «Journal de St. Pétersbourg», 1847, № 176, 11/23.

³⁹ П. В. Анненков. Указ. соч., с. 298.

⁴⁰ В «Письмах из avenue Marigny» Герцен приводит название только одной пьесы (О. Ф. Дювера и О. Т. Лозанна), в которой видел этого замечательного актера, — «Le docteur en herbe», назвав ее «торжеством Левассора» (XXIII, 22). Из других пьес с участием Левассора, шедших в это время, Герцен мог видеть «карнавальную шутку» Ш. Ла Варенна и Т. М. Дюмерсана «L'amour et le biberon» (Левассор исполнял в ней две роли, обозрение Ф. Ф. Дюмануара и Л. Ф. Клервиля «La poudre-coton», комедию Ла Варенна и Э. Бурже «Croquignol»; на сборных концертах, в частности на «экстраординарном представлении» во время одного бенефиса судя по газетным объявлениям, исполнялась комедия А. О. Ж. Мелесвиля, Ш. Дюверье и П. Ф. А. Кармуша «La fièvre brûlante», и в ней принимали участие «все комические артисты» Парижа, а Левассор сыграл новые сцены, озаглавленные «Le portier, ou le Jour de terme», А. О. Ж. Мелесвиля (Дювейрие) и П. Ф. А. Кармуша и танцевал с артисткой Натали «божественное па» из комедийного обозрения «La poudre-coton»).

Из одной беглой реплики в «Былом и думах» по поводу актерских способностей В. А. Энгельсона («до такой *едкости* никогда не доходил Левассор, разве Грассо в лучших своих созданиях» — X, 339) можно заключить, что Герцен побывал на спектаклях с участием комика Palais Royal П. Л. Грассо, актера исключительно талантливого и оригинального, игравшего тогда в «La poudre-coton», «La fièvre brûlante» и др. «Грассо не поддается анализу. Ничто, в са-

мом деле, не может передать его взгляд, его жест, его скачкообразную и шутовскую пантомиму; ни на каком языке не найти точной ноты, которая могла бы охарактеризовать этот великолепный носовой смех, вызывавший у нас взрывы хохота», — вспоминал один из современников («Grand dictionnaire universel du XIX-e siècle», par Pierre Larousse, v. VIII. P., s. a., p. 1467).

⁴¹ В тот вечер, когда Герцен видел в Palais Royal «Le docteur en herbe», шло еще несколько пьес, в том числе «La fièvre brûlante», «Une chambre à deux lits» неуставленного автора и «Poisson d'avril» П. Лейя. В трех последних (так же как в комедии «L'amour et le bibecon») главные роли исполнял выдающийся актер П. А. Равель. Его «ужимки и фарсы» Герцен вспомнит через двадцать лет, когда вновь увидит на сцене этого заметно постаревшего, но сохранившего все особенности своей игры Равеля (см. ХХХ, 30).

Ведущее место в театре Vaudeville занимал Э. Арналь. Его комическое дарование, по мнению Герцена, в некоторых отношениях было выше, чем Левассора. Видел он его в популярном водевиле О. Ф. Дювера и О. Т. Лозанна «Ce que femme veut» и в пьесе Леру «Une chaise pour deux».

В театре Variété Герцен получил представление об игре двух других театральных корифеев — М. Буффе, Верне. Вскоре он охарактеризует их как «превосходных актеров всякой сцены». В этом отношении они, как считал Герцен, также были выше Левассора по таланту, однако в них он не находил той чисто французской, парижской жилки, которая так восхищала его в премьеры театра Palais Royal (V, 54—55, 407).

Буффе в это время играл во многих пьесах. Особенно хорош он был, по мнению рецензентов, в специально для него написанной комедии Дюбуа-Довена «Pierre Févrière», в которой он создал неповторимый тип старого, лукавого и вкрадчивого бродяги из крестьян, беспощадно третирующего высочек-буржуа. Из других пьес в его исполнении особым успехом пользовались «Léonard le perruquier» Ф. Ф. Дюмануара и Л. Ф. Клервиля и «Turlulu» неуставленного автора.

Буффе и Верне совместно играли в «Vieux péchés» Ш. Портье, «L'enfant de troupe» Э. Дюнае и А. Буржуа и в «Porte-respect» Ф. Ф. Дюмануара.

⁴² Жан Батист Тест (1780—1852) — министр-взяточник, отданный под суд летом 1847 г. и приговоренный к тюремному заключению. Герцен присутствовал на его допросе в Палате.

⁴³ ГИМ, ф. 342, ед. хр. 196, л. 1.

⁴⁴ «Charivari», 1847, № 188, 7.VII.

⁴⁵ Ibid., № 139, 19.V. Шарль Мари Дюшатель (1803—1867) — министр внутренних дел.

⁴⁶ Ibid., № 155, 4.VI.

⁴⁷ Ibid., № 162, 12.VI; Альфред Ланн, граф Монтебелло (?—1861) — брат наполеоновского полководца, маршала Ж. Ланна, член палаты депутатов.

⁴⁸ И. С. Тургенев. Письма, т. III. М.—Л., 1961, с. 180—181.

⁴⁹ П. В. Анненков. Воспоминания и критические очерки. Отд. I. СПб., 1877, с. 324—325. См. также: И. С. Тургенев. Соч., т. XIV. М.—Л., 1967, с. 130.

⁵⁰ К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 7, с. 29—30.

⁵¹ В 1857 г. Герцен говорил А. П. Милюкову: «А знаете, какая музыкальная вещь всего больше поразила меня? Это «Марсельеза», которую пели, двигаясь по парижским бульварам, двадцать тысяч блузников! Никакая оратория не произведет на меня такого потрясающего впечатления» (А. Миллюков. Литературные встречи и знакомства. СПб., 1890, с. 162).

⁵² Цит. по «Лит. наследству», т. 63, с. 796—797.

⁵³ P. J. Proudhon. Carnets, v. IV. P., 1974, p. 271.

⁵⁴ Эта статья называлась «Современный роман в России. — Г-н Александр Герцен». В ней подвергались разбору «Дилетантизм в науке», «Письма об изучении природы», «Кто виноват?», «Прерванные рассказы», а также разные политические сочинения.

⁵⁵ Статья критика О. Нефтьера в «Presse» (см.: «Лит. наследство», т. 63, с. 814).

⁵⁶ См. там же, с. 812—813; т. 41—42, с. 200—201.

⁵⁷ Там же, т. 31—32, с. 830.

⁵⁸ Там же, т. 63, с. 822—823.

⁵⁹ Там же, с. 822.

⁶⁰ Эдмон и Жюль де Гонкур. Дневники, т. I. М., 1964, с. 488—489.

⁶¹ П. Д. Боборыкин. Воспоминания, т. II. М., 1965, с. 489. В других сочинениях Боборыкин воспроизводит этот эпизод с некоторыми любопытными вариантами: «По-французски говорил он бойко, но с московским барским акцентом. Употребляя непрерывно фразы и обороты, которые он тут же переводил с русского, он очень часто затруднял Литтре, не привыкшего к такой французско-русской диалектике» (П. Д. Боборыкин. Столицы мира (Тридцать лет воспоминаний). М., 1911, с. 496); «Литтре не сразу схватывал фразеологию своего собеседника. Герцен бойко вел французский разговор, но думал он при этом не по-французски, а по-русски и целиком переводил фразы своего полутегельянского жаргона, чем и приводил не раз Литтре в недоумение» (П. Д. Боборыкин. Воспоминания, т. II, с. 40).

⁶² Ср.: Л. Ланский. Известные воспоминания о Герцене! («Новый мир», 1959, № 6, с. 275—277).

⁶³ «Revue des Deux Mondes», 1862, 15.I.

⁶⁴ Ibid.; ср. Л XV, 35—36.

⁶⁵ См.: «Лит. наследство», т. 63, с. 827—828.

⁶⁶ Перевод выходца из России поэта И. Аксентьева. В «Краткой литературной энциклопедии» ему посвящена биографическая заметка, не учтенная комментаторами и составителями именного указателя 30-томного Собрания сочинений, вследствие чего его личность осталась со-

вершенно нераскрытой. Не воспроизведена там и авторская правка Герцена на переводе Аксенфельда (см. ее в «Лит. наследстве», т. 63, с. 798—799). Возможно, что Аксенфельд переписывался с Герценом по поводу этого перевода, а может быть, и на другие темы.

⁶⁷ «Лит. наследство», т. 63, с. 473—477.

⁶⁸ П. Д. Б о б о р ы к и н. Литературные воспоминания, т. II, с. 491. Боборыкин упоминает о том, что Герцен в середине января 1870 г. присутствовал в Salle des Capucines на публичной лекции революционного публициста О. Вермореля, после которой схватил простуду, через несколько дней осложнившуюся воспалением легких, что и свело его в могилу (с. 492—493).

⁶⁹ В ГБЛ сохранилась газетная вырезка статьи Е. С. Некрасовой из «Русских ведомостей» с ее авторской правкой. В статье сообщаются интереснейшие подробности о похоронах Герцена (69/13/2, л. 13).

⁷⁰ Сводку некрологов см. в «Лит. наследстве» (т. 63, с. 528—530, 537—538); Л ХХI, 564—575 и Л ХХII, 147—148.

⁷¹ См.: «Лит. наследство», т. 63, с. 523—528.

⁷² Там же, с. 529—530.

ПЕРЕПИСКА С ФРАНЦУЗСКИМИ ДЕМОКРАТАМИ

ПИСЬМА ГЕРЦЕНА К А. ДЕВИЛЮ, Э. КИНЕ И Г. МОНО.—

ПЕРЕПИСКА С Л. БЛАНОМ, В. ГЮГО И П. Ж. ПРУДОНОМ.—

ПИСЬМА К ГЕРЦЕНУ Э. АКОЛЛА, С. БЕРНАРА, Ф. БЮЛОЗА, Ж. МИШЛЕ,
С. Э. РАЛЛЕ И Ш. РИБЕЙРОЛЯ

Публикация и комментарии Л. Р. Ланского при участии М. Вильгельме (Женева),
А. Звигильского (Париж), М. Кадо (Клермон-Ферран)
и Моника Партридж (Ноттингем)*

ПЕРЕПИСКА С П. Ж. ПРУДОНОМ

Публикация Л. Р. Ланского

Герцен долго считал себя близким другом и единомышленником Пьера Жозефа Прудона (1808—1865), известного социолога и революционного публициста, и видел в нем «одного из высших, лучших представителей современного мира, действительную главу французского социализма», «единственного гениального и инициативного человека среди французских писателей» (V, 318, 416; XVIII, 314; XXIII, 189). Первые брошюры Прудона, прочитанные еще в России, произвели на него очень сильное впечатление. С живым интересом читал Герцен и остальные работы Прудона (XII, 277).

Прудон был тем революционным мыслителем и «мощным бойцом», с которым Герцену особенно хотелось бы по-дружески сойтись. Желание это можно было легко осуществить весной 1847 г., когда они познакомились в Париже у М. А. Бакунина. Однако Прудон интереса к приезжему русскому «туристу» не проявил, а Герцен был слишком самолюбив, чтобы домогаться благоволения европейской знаменитости. Их личные отношения поэтому свелись тогда к двум-трем малозначительным встречам**.

Прудону напомнили о Герцене два года спустя их общие знакомые, когда французский публицист решил возобновить, под новым названием, издание своей запрещенной властями газеты «Peuple» и ему понадобилось 24 000 фр. для внесения в казначейство залога. После нескольких безуспешных попыток привлечь какого-нибудь состоятельного соредактора или просто капиталиста, готового ссудить эту крупную сумму, Прудон вынужден был обратиться к Герцену, которого уже некоторое время подвергали «обработке» К. Э. Хоецкий (Ш. Эдмон) и Н. И. Сагонов (см.: «Лит. наследство», т. 62, с. 532—545; «Вопросы литературы», 1975, № 4, с. 199—209).

В июле 1849 г. Прудон писал Герцену:

* Все письма в этом разделе переведены с французского Л. Р. Ланским.

** «Какось, что и я сначала был увлечен и думал, что поговорить в кафе с историком „Десяти лет“ или у Бакунина с Прудоном — некоторым образом чин, повышение, — писал Герцен в «Былом и думах», — но у меня все опыты идолопоклонства и кумиров не держатся и очень скоро уступают место полнейшему отрицанию» (X, 326).